KRETSCHATIK
International Literary magazine

Марат БАСКИН
Специалист по Пиросмани

Марат Баскин Специалист по Пиросмани

БИБЛИОТЕКА «КРЕЩАТИКА»
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА

ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ФЕДОРОВА

Марат
БАСКИН

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПИРОСМАНИ

Друкарський двір
Олега Федорова
Київ, 2024

УДК 821.161.1’06-341
Б27

СЕРІЯ «Библиотека “КРЕЩАТИКА”»
Заснована в 2023 році

Баскин М.

Б27 Специалист по Пиросмани / М. Баскин — Друкарський двір Олега Федорова 2024 — 176 с.

ISBN 978-617-8252-85-4

В этот сборник вошли повести и рассказы Марата Баскина, опубликованные в журнале Крещатик, на протяжении двух десятков лет. Это истории о жителях маленького местечка Краснополье, в котором родился сам автор. Его герои вышли за пределы своего местечка и разошлись по миру. Но, как сказал автор в одном из своих интервью, «не ищите моих героев в Краснополье, их там не было и нет, но они были и есть, и будут в моём краснопольском сердце». Действие повестей и рассказов Марата Баскина происходит в Краснополье и в Америке, всюду, куда судьба заносит его краснопольцев.

УДК 821.161.1’06-341

ISBN 978-617-8252-14-4 (серія БК)
ISBN 978-617-8252-85-4

© Баскин М., 2024
© Федоров О.М., видавець, Київ, 2024

ГЛИНЯНЫЙ ШАР

Повесть

Однажды подняв глаза к небу,
Человек увидел золотой шар:
И ему захотелось дотянуться до него...
Стивен Крейн

Вы слышите, как стучит в стенку ворона? Это моя Златка. Я им объяснил, что это говорящая ворона, и просил пропустить ее ко мне в палату. Но они не верят мне! Они считают меня идиотом! Вы представляете: мы дотянулись до золотого шара! И что не делает человек в минуту радости! Мы прыгали, обнимались, танцевали, как все нормальные люди в минуты радости, а Данута подумала, что у нас приступ помешательства и вызвала амбуланцу! И вот мы здесь уже вторые сутки! Конечно, Стив может уйти, он привидение, и ему ничего не стоит пройти сквозь стены, но он не хочет бросать меня одного. Они его держат в другой палате, но, когда здесь нет никого, он приходит ко мне. И сколько мне еще здесь быть? Вы знаете, мистер Баскин, я в жизни часто падал в пропасти, но всегда выкарабкивался из них! Всегда. А сейчас не знаю! Счастье отвернулось от меня. Как будто это не мое счастье! А чье? Моя тетя Малка всегда мне говорила, за чужим счастьем не гонись, ищи свое! А как узнать, где твое, а где чужое?

Я скажу вам честно, я, конечно, сумасшедший, но не такой, чтобы держать здесь в палате! В нашей мишпохе были сумасшедшие, но они жили дома!

Страница прошлая

Сумасшедшими были мой дедушка Шеел и мамина сестра Малка. Наши сумасшедшие вначале были умные, как все,

и, может быть, даже больше, чем все, но жизнь ставила им подножку, они падали, их умные головы не выдерживали падения, и они сходили с ума.

— Умные чаще становятся дураками, чем дураки умными, — всегда говорила тетя Малка.

И так оно и есть. Дедушка Шеел до революции имел сахарный завод, и ни один лэках на еврейском столе не обходился без его сахара. И даже на гойских столах пили чай Высоцкого с дедушкиным сахаром.

— Но мы такие времена знали только по слухам, — говорила тетя Малка, рассказывая мне семейные истории. — Ибо когда твой дедушка был моим папой, он уже не имел своих заводов, и мы пили сладкий чай только два раза в год: на Пурим и на Хануку! Наш папа уже не был сахарозаводчиком, а был простым краснопольским сумасшедшим!

Потерял свои заводы дедушка еще до свадьбы: какой-то его друг — а ганеф — подсунул ему на подпись фальшивые векселя, и в одно прекрасное утро дедушка проснулся разоренным. И он не перенес этого и сошел с ума. И тогда его мишпоха привезла его в Краснополье, где никто ничего не знал о каких-то векселях и вообще никто раньше о дедушке не слышал: просто приехал молодой красивый человек с задумчивым взглядом и хорошим ихес, и засватала его за самую красивую девушку, дочку краснопольского ребе Цырул! И все, дело было сделано! Вы слышали когда-нибудь, чтобы в еврейской семье был развод! И при этом в семье ребе?! Я вас не спрашиваю про сегодняшние дела, я вам рассказываю про тогдашние, а тогда еврей — это был еврей! И бабушка Цырул, проплакав не один день, осталась жить с сумасшедшим дедушкой.

— А бешехт эпес трефунзахс итс трефцах, — сказал ее папа реб Нохем. — Если что-то суждено, то оно случается. Надо жить, тохтерке!

Дедушка Шеел был тихим и добрым сумасшедшим. Как рассказывала моя мама и тетя Малка, он был очень молчаливым, никогда ничего не говорил о своей родне и вообще о своей жизни до свадьбы, и до сих пор я ничего не знаю о нем, кроме того, что вся дедушкина родня жила в Петербурге и Москве.

Засватал бабушку Цырул краснопольский шадхен Лейзер, но он ничего не знал о мишпохе дедушки Шеела и только сказал, что дали большие деньги и больше таких денег он никогда не видел.

— Лучше бы дали эти деньги нам! — рассказывая эту майсу, говорила тетя Малка. — Но как говорил наш дедушка Нохем, мы слышали только звон, и этого хватило, чтобы глаза наши ничего не видели!

Дедушкину родню никто никогда из нашей семьи не видел, в Краснополье она не появлялась, и даже на дедушкиной свадьбе были хавейрым, но не родственники. Но до революции каждый месяц в Краснополье приходили посылки из Москвы, Петербурга и даже Берлина. Обратного адреса на них не было. В посылках были разные вещи, одежда, книги, и бабушка продавала все, ничего не оставляя себе, и на эти деньги жила наша семья. Каким-то образом дедушкина мишпоха знала о нас все, ибо когда маминому брату дяде Моне исполнилось восемнадцать лет, неожиданно пришло письмо из Петербурга. Управляющий заводами «Фридлянд и сыновья» писал, что по поручению господина Фридлянда-старшего приглашает дядю Моню на работу на заводы компании.

Бабушка Цырул несколько раз вслух прочитала письмо дедушке, а потом его спросила:

— Шеел, вос ис дос? Что это такое?

Дедушка долго вертел письмо в руках, как будто не знал, что с ним делать, потом посмотрел на бабушку и сказал:

— Ит ис Бер-Довид, это Бер-Довид, брат моей мамы. Цырул, не бойся, они нашего Моню не обидят! Пусть едет!

И дядя Моня поехал. На заводе его принял молодой человек, который назвался помощником управляющего реб Срулам. Он сразу определил Моню учеником к бухгалтеру и дал Моне большие для того времени деньги — десять рублей!

И, может быть, дядя Моня стал бы большим человеком, если бы все это произошло немножко раньше. Но увы! На «Авроре» уже расчехлили пушки.

И дядя Моня, не пробыв в учениках и полгода, вернулся в Краснополье. За эти полгода он нашу родню так и не увидел, зато увидел, как Ленин выступал с броневика, и стал благодаря этому чуть ли не героем революции в Краснополье: вейз мир, Моня видел самого товарища Ленина! Дядя рассказывал об этом на всех углах, и... первая же банда, захватившая Краснополье в двадцатые годы, убила его как еврея и как символ революции.

После этого бабушка запретила всем в семье заниматься политикой:

— Это не наше дело: у нас и без этого хватает забот! Киндерлах, дайте дожить спокойно!

Но разве в то время и при той милухе можно было обойти политику стороной?!

На уроке истории сын тети Поли Иоська толкнул нашу Малку за локоть, и она нечаянно перечеркнула в учебнике портрет товарища Сталина! Хорошенькое дело в хорошенькое время, как говорила наша мама.

За несколько дней до этой истории арестовали нашего соседа, девяностолетнего Якуба Ивановича. Он еще до революции учился в Берлине и вернулся где-то перед самой революцией в Краснополье с женой немкой. Лотта, так звали его жену, устроилась в школе учительницей немецкого языка, а Якуб Иванович пошел в землемеры. Детей у них не было, и в старости они оказались совершенно беспомощными: у Якуба Ивановича отнялись ноги, а Лотту замучили головные боли, или как она их называла — мигрени! И бабушка Цырул, и Малка, и моя мама помогали соседям, чем могли. А дедушка Шеел любил заходить к хаверу Якубу поговорить о жизни. Малку с мамой бабушка Цырул посылала вслед за дедушкой к соседу, чтобы присмотрели вос татэ тут, что делает дедушка. И как рассказывала мама, это были у них с Малкой самые счастливые минуты в детстве: послушав разговоры дедушки с соседом, никто никогда бы не сказал, что дедушка сумасшедший. Затаив дыхание, они слушали разговоры взрослых и кушали швабские вареники тети

Лотты. Когда они возвращались от соседей, бабушка всегда спрашивала, о чем говорил дедушка с другом, и мама с Малкой дружно отвечали:

— Про огород!

Как тетя Малка мне потом рассказывала:

— Не могли же мы маме сказать, что дедушка вел в основном разговоры о политике: мама бы этого не перенесла! — тетя Малка улыбалась и доверительно добавляла: — А папа не говорил маме, что мы кушали у тети Лотты некошерные вареники!

Каждое утро перед школой тетя Малка заносила соседям горлачик сыродоя, и в тот день, когда соседей арестовали, столкнулась у соседской калитки с краснопольским энкеведистом Гришкой. Он оттолкнул Малку, бросив сквозь зубы: «Отойди!» — и в открытую калитку протащил за ноги Якуба Ивановича. Лотту под руки вывели два незнакомых человека. Лотта кричала что-то по-немецки, и один из державших ее всунул ей в рот конец ее платка, чтобы она замолчала. И она, вытаращив глаза, начала задыхаться. Тетя Малка запомнила на всю жизнь стучащуюся о каменную дорожку голову Якуба Ивановича. За день до этого она помогала Лотте положить эту дорожку, и тетя Лотта радовалась ей и говорила: «Вундерфул!»

И вот после этой истории тетя Малка перечеркнула портрет Сталина! Через полчаса об этом стало известно в НКВД, но когда Гришка пришел за Малкой, она была уже сумасшедшей! И Гришка ее не арестовал, но сказал маме:

— Я не возбуждаю дела в память о вашем брате-революционере! И учитывая, что все в вашем роду сумасшедшие.

И в этот день бабушка Цырул была счастлива, что у нее сумасшедший муж и сумасшедшая дочь!

— Спасибо тебе, Готыню, что ты забрал у них ум, но оставил их живыми и с нами!

После этой беды все остальные беды как-то стали обходить наш дом стороной, и до самой войны жили, слава Б-гу, как все: не то чтобы хорошо, но тихо. А потом была война...

В эвакуацию наша мишпоха бежала едва ли не последней: немцы уже бомбили дороги, и двигались беженцы, в основном лесами. Где-то под Кричевом попали на немецкий десант и, убегая от него, потеряли дедушку. Когда остановились передохнуть и обнаружили пропажу, бабушка сказала:

— Киндерлах, папа ушел назад в Краснополье. Он там один не проживет. Я пойду за ним. Не все же немцы фашисты — мы знаем Лотту! Может быть, как-нибудь выживем! А вы, дети, поедете дальше с дядей Рахмиилом. Вы молодые, и я не могу рисковать вами. После войны встретимся. Товарищ Сталин не даст фашистам долго здесь хозяйничать! — и ушла, оставив нас с дядей Рахмиилом, которому самому было лет восемнадцать.

Так рассказывала мне мама и так я рассказываю вам.

После этого мама с Малкой больше бабушку не видели и никто ее больше не видел. А дедушка Шеел, как и догадывалась бабушка, вернулся в Краснополье. Когда его соседи спросили, почему он пришел назад, он сказал:

— Амелхоме! Моня должен из Петербурга приехать! А кто его встретит? Они все о нем забыли! Побежали, как сумасшедшие. И я, дурак, тоже. А потом вспомнил про Моню и вернулся.

Его расстреляли вместе со всеми краснопольскими евреями во рву за сушильным заводом.

Вышла мама замуж за такого же сироту, как и сама, сына Хаима-стекольщика, Иоську. У папы за душой были только медали за войну и деревянная палка, которую ему дали в госпитале.

— Вот такое мое приданое было, — смеялся он, рассказывая нам свою историю. — А у мамы был дом без окон, сарай без крыши и огород! Она была богатая невеста!

— И я! — добавляла Малка, слыша папины шутки. — Хорошенькое приданое — сумасшедшая сестричка. Хена, — обращалась она к маме, — ты помнишь, как говорила о нас Бася, которая имела виды на Иосифа? У них же в семье все сумасшедшие! Иосиф, подумай, что ты делаешь?

— И я подумал и женился на маме, — разводил руками папа. — И тетя Малка стала нашей главной экономкой, как Берта у Мойши Брагина!

Тетя Малка, как все наши сумасшедшие, была добрая, тихая и умная. И главное ее сумасшествие было в том, что она не спала по ночам и разговаривала с вороной, которую нашла у нас на огороде с подбитым крылом: допризывники баловались во дворе военкомата с воздушкой и подстрелили ворону. Кроме вороны, тетя Малка любила поговорить со всеми краснопольскими коровами, собаками, кошками, курами и даже индюками, которых держала наша соседка Зуськина.

И благодаря этому Малку взяли на работу в ветлечебницу медсестрой.

— Лучшей работницы у меня не было и не будет, — говорил о ней наш ветврач Константин Федорович. — Я Малку Шееловну не променяю на специалиста с тремя дипломами! Вы думаете, я могу сделать прививку совхозному быку Пантелеймону без Малки? Вы хотите сказать — нет? Ошибаетесь! Могу! Но для этого его должны держать человек десять! А Малка Шееловна подходит к Пантелеймону, чешет ему за ухом и готово: делай ему хоть три прививки сразу! Это талант! Ему нельзя научиться, с ним надо родиться.

Больше всего на свете тетя Малка любила меня и ворону, о которой я вам говорил раньше. Ворону тетя Малка звала Златкой и с ней разговаривала, как с человеком.

— Попробуй еще найди такого умного человека, как Златка, — говорила Малка. — Она ведь прожила большую воронью жизнь и всякого повидала на своем веку.

Меня тетя Малка считала родным сыном и, несмотря на все протесты моей мамы, называла меня сыночком.

— Не главное, кто родил, — говорила она. — А главное, кто как любит! Для меня он тоже сыночек, как и для тебя!

Малка все время думала, что я никогда никуда не уеду и буду все время дома, в Краснополье, но жизнь моя шла своим чередом: сначала уехал учиться в Могилев, потом уехал работать в Минск, потом улетел в Америку...

Малка очень болезненно переносила мои отъезды, как рассказывала мама, она стала каждый день поститься, чтобы Геночке там далеко помогал Б-г! А когда я уезжал в Америку, тетя Малка отдала мне ворону:

— Возьми ее с собой, она будет тебе напоминать обо мне и о нашем доме! И тебе не будет там так одиноко. И, может даже, Златка тебе поможет там в трудную минуту! Она ведь мудрая, как все вороны!

Моя жена подняла крик:

— Нам не хватало еще везти в Америку ворону! И так багаж не позволяют, берем самое необходимое! А тут еще ворона в клетке! Ты в своем уме или нет? Ты эту клетку в зубах собираешься нести?

И я, честно вам скажу, мистер Баскин, заколебался: брать или не брать ворону?

Но тетя Малка сказала:

— Сыночек, возьми ее. Тогда я буду спокойна.

И я взял.

Ехали мы в Америку по вызову родственников жены, и я надеялся позже вызвать в Америку и своих. Но вначале, когда вроде бы могли это сделать, мама ответила мне, что они не поедут на интервью в Москву, так как там надо проходить медицинскую комиссию, а Малка ее не пройдет. И поэтому ни к чему лишние затраты! А потом, когда я увидел, что сюда едут и кривые, и больные, и сумасшедшие, похуже нашей Малки, Малки не стало, и вопрос о приезде моих родителей отпал: мама написала, что от родных могил они не уедут.

Но это было потом, а вначале золотой шар Америки маняще позвал нас в дорогу.

Страница настоящая

В нашей школе учителя были абсолютно уверены в будущем трех учеников: Давида, которого все звали специалистом по Пиросмани, Вани Сандригайло, которого звали Пифагором, и меня, которого называли Белинским. Придумала это имя наша русичка Лидия Константиновна.

— Геночка, ты юный Виссарион! И не спорь со мной! Я знаю, что говорю: таких сочинений никто не писал за всю мою жизнь, а я проработала в школе не один год!

Я вам скажу, наши учителя не ошибались: Давид стал искусствоведом и сейчас преподает в Гарварде, Ваня решает математические проблемы в Минске, а я окончил пединститут, защитил диссертацию по Стивену Крейну, и в журналах стали появляться мои рецензии на поэтические сборники. Но до Виссариона Белинского мне было далеко.

Златка мне как-то сказала:

— Может быть, ты бы и стал великим критиком, но ты слишком рано женился!

Конечно, ее замечание субъективно: она не любит мою жену, и я скажу почему: Зина не хотела ее брать в Америку.

Женился я и вправду рано: на последнем курсе института. Женился неожиданно и для себя, и для всех, хотя Краснополье одобрило мой выбор: я взял не кого-нибудь, а прокурорскую дочку.

Я не скажу вам, что Зина была первой красавицей в школе, были и красивее ее девочки в нашем классе, но она была другая, не похожая на наших, городская и по манерам, и по одежде, и даже по взглядам на жизнь. И, конечно, все еврейские парни из нашей школы обратили на нее внимание. И я в том числе. Но она в то время не обращала на мня никакого внимания, у нее в друзьях ходил Ленька Матрос, как его звали за вечную тельняшку, сын директора совхоза, и я махнул рукой на школьную любовь: как у нас говорят, не твое — не бери!

Через несколько месяцев мы окончили школу и все разъехались из Краснополья. Зина уехала поступать в медицинский куда-то на Дальний Восток, где жили родственники ее мамы. На летние каникулы она приезжала не каждый год, и так получилось, что мы не виделись года четыре, а может, и больше, я сейчас не помню. И вот неожиданно встретились на Могилевском автовокзале. Я ее даже в первую минуту не узнал — она как-то и повзрослела, и похорошела. А она меня узнала сразу:

— Ой, Гена, — закричала она, чуть ли не на весь вокзал. — Я так давно тебя не видела! Просто не рассказать тебе, как я соскучилась по всем! — и, улыбнувшись, сказала: — И по тебе тоже! — и добавила: — Я слышала, ты стал знаменитым?

— И на Дальний Восток дошли слухи, — отшутился я.

— Мама мне писала, — призналась Зина. — Я там всем девочкам говорю, что в школе училась с писателем. И думаешь, они мне верят? Нет! Говорят, что это все я придумала.

Всю дорогу в автобусе мы говорили без остановки и даже не заметили, как въехали в Краснополье. Вышли мы с ней у почты, не доезжая вокзала: ее встречали родители, а меня, как всегда, тетя Малка.

— До завтра, — сказала Зина, а ее папа пригласил меня заходить в гости.

Тете Малке Зина не понравилась.

— Почему? — спросил я.

— Потому что у них в семье главная — ее мама! — неожиданно для меня сказала Малка, — а в семье должен быть главным мужчина! Мой папа был сумасшедший, но моя мама не разговаривала так с ним, как Софья Марковна с Львом Абрамовичем! Как будто она прокурор, а он — библиотекарь!

— А причем тут Зина? — сказал я. — Зина, может быть, совсем другая!

— Хоть ты и пишешь в больших журналах, но в людях ты еще не разбираешься! Твой дедушка Шеел говорил, когда сидел у дяди Якуба, я запомнила: каким растили, таким и получили! Он имел в виду товарища Сталина, а я имею в виду твою Зину! Она же видит, как живут ее родители, и, конечно, тоже захочет так жить! Генералами все любят быть! Я ничего не говорю, а шейне мэйдалэ, но для жизни это мало.

Дома она поделилась своими мыслями с мамой, но мама ее не поддержала:

— Пусть встречаются, он же не сегодня женится. Повстречаются и сами разберутся: подходят друг другу или нет, — мама всегда мечтала иметь невесткой врача и чтобы ее родители были богатыми. Она мне как-то призналась, что

сама прожила очень бедную жизнь: и когда была маленькой, и когда вышла замуж, и ей хотелось, чтобы я жил другой жизнью. Она как-то сказала:

— Малка не понимает, как трудно жить, если считаешь каждую копейку! А мы с папой так живем! Мы ей про это не говорим, она подумает, что она у нас лишняя, но тебе, сынок, я тебе это говорю. И поэтому, дай Б-г тебе жизни, чтобы ты не нуждался в деньгах.

Эти мамины слова я часто вспоминаю, но деньги почему-то все время идут мимо моих рук. И там шли, и здесь, в Америке, тоже.

Я не знаю, женился бы я на Зине в то лето, если бы не судьба. А судьбу мы не выбираем, как написано в Торе!

Лето в том году было дождливое и пасмурное, и все дни я проводил у Зины дома. И самое странное, что я, всегда молчаливый, находил, о чем говорить, и Зина слушала меня, открыв рот. Но я вам скажу, что говорил я обо всем, но не о любви, и Софья Марковна, встретив мою маму, сказала:

— Моя Зиночка в этом году кончает институт, впереди направление, и у них в основном Сахалин, а ваш сын молчит!

— Он у нас стеснительный, — не зная, что ответить, сказала мама, а тетя Малка, которая присутствовала при этом разговоре, спокойно сказала:

— А что ему говорить, когда он еще не собирается жениться.

Тетя Малка хотела своими словами повернуть мою судьбу в другую сторону, но, как говорили древние греки, не пытайся на нити судьбы завязать узел.

Где-то за неделю до начала занятий, до нашего отъезда, Зина устроила дома вечеринку, пригласив почти весь наш класс. Как раз Льва Абрамовича вызвали в область на какое-то совещание, и он, взяв с собою Софью Марковну, оставил квартиру на Зину. Квартира у прокурора была не очень большая, чтобы танцевать, а на улице был дождь, и мы в основном пили и ели. Не помню, как опьянел, просто, когда пришел в себя, увидел, что лежу в постели и рядом со мною Зина. А у постели стоят Лев Абрамович и Софья Марковна.

Что вам сказать? Хорошенькая история для еврейской семьи!

— Я не буду говорить, что у них что-то было, — сказала Софья Марковна моей маме. — Моя девочка не такая! Но они перебрали лишнее, и все могло быть! Не дай Б-г, об этом узнают в Краснополье! — И добавила, посмотрев подозрительно на тетю Малку: — Видно, это судьба! И, вообще, о чем мы рассуждаем, если они любят друг друга!

Прокурор устроил так, что нас записали без обязательного месяца на раздумье! Раздумывать было поздно. Свадьба была у нас большая, громкая, на все Краснополье. На ней было все местное начальство во главе с первым секретарем, и даже приехал кое-кто из области. Пили за нас, за партию, за родину, за советскую прокуратуру!

— Мне кажется, это было празднование Октябрьской революции, а не еврейская свадьба, — заметил после свадьбы папа.

А мама восприняла такую свадьбу, как должное:

— Они знают, как жить и кого пригласить! Слава Б-гу, наш Геник попал в хорошую семью!

Тетя Малка смирилась с моей женитьбой, но свое слово сказала:

— Это, конечно, судьба, и дай Б-г, Геник будет счастливый, но я вам скажу, и можете считать меня сумасшедшей, этой судьбе очень помогла Сонечка!

Уже здесь, в Америке, как-то Зина по какому-то поводу спорила со мной и в сердцах сказала:

— Ничего ты не можешь в жизни! Даже жениться и то не мог! Хорошо, что моя мама догадалась, как тебя женить!

Жили мы с Зиной дружно, споры начались здесь, и я вам скажу, несмотря на то, что женился вроде бы не по своему желанию, я любил ее и тогда, и теперь... Любила ли она меня, я не знаю: после свадьбы она никогда не говорила об этом. Да и до свадьбы об этом говорила ее мама. Мне всегда хотелось услышать от нее слова любви, но, хотя я ей говорил о любви несколько раз в неделю, она только загадочно улыбалась и ничего не говорила. Главным советчиком в жизни у нее была

мама, и обо всех семейных решениях я узнавал после того, как Зина согласовывала их с Софьей Марковной. И после этого мое согласие было просто констатацией факта, как умно выразилась ворона.

Так было и с Америкой. Софья Марковна решила, и мы поехали.

Когда стали уезжать первые евреи, Зина как-то сказала:

— Жалко, что у нас нет родственников в Америке.

— А что нам там делать? — сказал я.

— Что все, — сказала Зина и добавила: — У нас уехала медсестра и там уже имеет магазин. Она присылала на работу фотографии: ты бы посмотрел, какой у них дом и какая машина! Я тебе ручаюсь, что наш секретарь райкома такое не видел даже во сне.

Вот так поговорили и забылись. А потом через полгода Зина вдруг сказала мне:

— Что ты думаешь насчет Америки?

— У нас нет там родственников, — развел я руками. — Ты же это знаешь.

— Знала, — поправила меня Зина. — А теперь знаю, что есть. Нашлась мамина троюродная сестра Сима, дяди Нафтоли дочка!

— Какого дяди Нафтоли? — спросил я, первый раз в жизни слыша это имя.

— Они жили в Баку, мы раньше переписывались с ними, а когда дядя Нафтоля умер, связи прервались. Но папа как-то отыскал их следы. Они живут в Нью-Йорке. Ты понимаешь, что это значит для нас?

— Понимаю, — сказал я, — что это очень далекое родство, и нас они вызвать не могут.

— Ты говоришь, как мой папа, — сказала Зина. — Но мама ему сказала: «Ты же все-таки прокурор и неужели не можешь кое-что кое-где изменить! Люди и на меньшей, чем у тебя должности, все делают! Не волнуйся, Ленин на портрете, который висит у нас дома, ничего плохого тебе не скажет, он сам много раз изменял документы! Мы это учили на политзанятиях!» Так что, Геночка, скоро у мамы в Америке будет родная сестра!

Зина посмотрела на меня умоляющим взглядом и тихо сказала:

— Гена, я понимаю, что тебе там будет трудно, но мы же едем туда не ради себя, а ради дочки. Ты представляешь, Наташка вырастет и будет единственной еврейской девочкой в школе! Страшно даже подумать об этом: на нее будут показывать пальцами! И где она найдет еврейского мужа? Надо будет выписывать или из Израиля, или из Америки. Я все время думаю об этом и плачу по ночам, когда ты спишь: я не хотела тебя расстраивать — ведь у нас раньше не было шансов уехать. Но теперь, слава Б-гу, есть, и неужели ты считаешь, что этот шанс надо упустить?

Я посмотрел на навострившую ушки Наташку: что скажет папа? — и согласился.

— Воленс-ноленс, — как съехидничала по-латыни Златка. — Волей-неволей! Жизнь — удивительная штука, никогда не знаешь, где потеряешь, а где найдешь!

И в этом вопросе я с ней полностью согласен.

Так получилось, что Лев Абрамович, сделавший все, чтобы мы могли уехать в Америку, сам ее так и не увидел: все эти дела очень плохо отразились на его здоровье, он на ногах протянул два инфаркта и на третьем умер за две недели до отъезда. Похоронили его в предотъездной суете, и потом через полгода мои родители поставили ему памятник.

Троюродная сестра Софьи Марковны не узнала нас в аэропорту. И откуда было ей узнать, если нас она никогда не видела? И мы полчаса стояли посреди зала, не зная, что делать и что говорить. Слава Б-гу, ворона сообразила, что от такой встречи скоро нам станет плохо, и, высунувши клюв из клетки, на чистом английском закаркала:

— Господа! Тут кто-нибудь ждет родственников из Краснополья или нет?

Вы не удивляйтесь, что Златка знает английский. Вы лучше спросите, какой язык она не знает? Она как-то в овощном разговорилась с хозяином-китайцем и потом еще целый вечер пыталась со мной говорить по-китайски. Мне бы ее знания, и я в Америке не знал бы проблем!

Зинины родственники жили в Квинсе, и мы сняли квартиру в том же районе. И началась наша новая жизнь. Я не буду вам рассказывать про первые годы здесь, скажу кратко, всего хватило, как у всех, кого судьба привела на эту землю. Но как говорила тетя Малка: забудем плохое и вспомним только хорошее!

Зина убирала квартиры в Боро Парке, я перебивался подработками, которые мне находили Зинины родственники, а Софья Марковна вела воодушевляющие беседы как бывший идеологический работник.

— Чтобы вы ни говорили, а здесь лучше, чем там, — сообщала она за ужином, когда мы собирались вместе. — Там сейчас творится неизвестно что! Вчера я встретила Гинду из Осипович, она получила письмо от племянника: там сейчас буханка хлеба стоит миллион рублей! Вы слышали когда-нибудь про такое?

Новости оттуда она приносила каждый день, и мне кажется, она их придумывала, как в былые времена лектор из общества «Знание», рассказывая о происках капитализма.

Мои родители особенно о своей жизни там не писали, и это не нравилось Софье Марковне:

— Они пишут не все, — сочувственно говорила она. — И я их понимаю: они не хотят расстраивать нас!

Зина, правда, ей как-то сказала:

— Мама, что ты так переживаешь за то, что там происходит? У нас тоже пока не сладко!

После этого Софья Марковна не разговаривала с ней целый день и обиженно всхлипывала на кухне.

И мы назавтра опять покорно стали слушать жуткие истории из той жизни. Так пролетело пару лет, и Зина, наконец, сдала экзамен на врача. Жена тети Симинового племянника Бейличка держала медицинский офис, и Зина пошла работать к ней. Правда, Зина была не в восторге от этой работы.

— Бейличка ни грамма не понимает в медицине и командует нами, как у нас в Минске Григорий Петрович! — возмущалась каждый вечер Зина.

— Ничего, — успокаивала ее Софья Марковна. — Поработаешь немного и откроешь свой офис!

Но Зина долго терпеть не смогла и однажды, поругавшись с Бейличкой, ушла с работы. Неделю она была дома, а потом подвернулась работа в Нью-Джерси, и она поехала туда.

— Я обустроюсь, а потом и вы переедите, — сказала она.

Все лето она приезжала на выходные, а в сентябре забрала к себе Наташку, сказав, что там очень хорошая школа, и стала приезжать домой пореже: у Наташки в школе то были пати[1], то воскресные занятия...

День рождения у Наташки был в середине недели, и она приехала с Зиной после, в воскресенье. Я купил любимый Наташкин чизкейк и подзорную трубу, о которой мы с Наташкой мечтали еще в Краснополье.

— Чтобы посмотреть, как живут лунатики, — говорила Наташка, когда мы летними вечерами сидели на бабушкином крылечке и смотрели в небо.

Но сейчас мой подарок Наташа восприняла без особой радости.

— А дядя Миша мне подарил компьютер, — похвасталась она.

— Кто этот дядя Миша? — спросил я.

— Знакомый, — ответила Зина и добавила: — Я тебе потом о нем расскажу.

Но уехала, так ничего и не рассказав.

И в тот же вечер Софья Марковна завела со мной разговор:

— Знаешь, Гена, Зина не хотела говорить с тобой при Наташе, но у нее появился хороший знакомый. Он любит и ее, и Наташу. Он держит большой компьютерный бизнес и сейчас собирается купить Зине офис. Ты не обижайся, Гена, но ты уже три года в Америке и все на одном месте топчешься! Зина это делает не ради себя, а ради Наташки. Ей нужен отец, который может зарабатывать деньги. А ты можешь?

— Нет, — честно признался я.

— И детям ей стыдно сказать, что у нее папа грузчик, — добавила Софья Марковна. — Ты сам понимаешь это! Но надо все как-то сделать так, чтобы не травмировать ребенка. Подумай, пожалуйста!

---

[1] Так в Америке называют вечеринки.

Я не стал кричать, не помчался в Нью-Джерси, не попытался поговорить с Зиной — я просто сошел с ума.

И знаете, от этого стало лучше всем: Зину развели со мной даже без моего присутствия — разве можно жить с сумасшедшим мужем? А мне назначили пенсию и дали хомоатенда.

Зина позвонила мне, сказала спасибо и добавила, что я могу навещать Наташку, когда захочу. Она еще предложила мне остаться жить в нашей квартире, так как маму она забирает к себе — у Миши дом! Но я поблагодарил и отказался: эта квартира была мне не по карману, и я переселился в маленькую студию на Крапси.

Каждое воскресенье я ездил в Нью-Джерси на встречу с Наташкой. Я ждал этого дня, как счастья. И она ждала этот день.

Она долго переживала, подумав, что обидела меня с подзорной трубой, и при каждой встрече рассказывала, что нового увидела в небе.

А однажды она сказала:

— Папа, я знаю, что ты не сумасшедший! Ты просто не умеешь делать деньги! Я подслушала, как бабушка говорила маме, чтобы она не мучилась из-за развода, так как ты не умеешь делать деньги, и с тобой у нее не было бы перспектив! А что такое перспектива?

— Не знаю, — сказал я и добавил: — А подслушивать разговоры взрослых нельзя.

— Иногда можно,— возразила Наташка и добавила: — Я вырасту большой, буду много-много зарабатывать денег и возьму тебя к себе. Ты будешь читать стихи и писать свои книжки. Хорошо?

— Хорошо, — кивнул я.

— Правда, долго тебе придется ждать, — вздохнула Наташка и спросила: — Будешь ждать?

— Буду, — сказал я и, ощутив подкатывающий к горлу комок, стал быстро тереть глаза.

— Мушка залетела? — спросила Наташка.

— Да, — ответил я.

Так встречались мы почти год, но однажды этому пришел конец: в Зинином доме я не застал Наташку. Ждала меня одна Софья Марковна. Как всегда Зина ушла от разговора, поручив это дело маме.

— Они переехали во Флориду, — объявила она мне с порога.

— Отдыхать? — не понял я.

— Жить! Я же тебе по-русски сказала: переехали! — едва не по слогам произнесла она последнее слово. — Из-за тебя! Каждое воскресенье ты здесь! Это невозможно! Миша просто не мог перенести это: это выводило его из себя! Он раньше был педагогом и знает, как воспитывать детей, а ты своими посещениями все его воспитание сводил на нет! А у него на плечах еще большой бизнес! И вот решил переехать: от тебя подальше! Из-за тебя ему приходится все начинать сначала! И у Зины было налаженное дело: пациентов приручить не так просто! Но что тебе? Ты только думаешь о себе! — в сердцах добавила она и захлопнула передо мной дверь.

Им надо начинать все сначала! А мне? Наверное, кончать с прошлым. Только подумали они об этом или нет? По силам ли мне это? И я опять стал карабкаться к своему золотому шару. Вверх, вверх, вверх! Головой в потолок! Потолок вдребезги, как будто он из стекла! И снова вверх! А может быть, Стивен не прав и не у каждого есть золотой шар! Может, мне суждено карабкаться к глиняному шару и, дотянувшись до него, понять, что большего мне не дано!

Мистер Баскин, скажите им, чтобы пустили в палату ворону. Мне надо с ней поговорить.

Будущая страница

Я должен найти свой золотой шар. Должен! Иначе я больше не увижу никогда Наташку! А для чего мне жить без нее? Вы спросите у Златки, и она вам подтвердит, что шар был у нас в руках. Он был ближе, чем вы от меня! Я докарабкался до него, как альпинист до Джомолунгмы! И неужели мне придется остаться внизу? И смотреть на шар, как на горизонт?

Все началось в тот день, когда ворона вдруг сказала:

— С Малкой мы увидимся, когда придет Мошиах.

— Почему? — спросил я.

— Потому что тогда мертвые встанут из праха, — сказала Златка, — и все соберутся в Иерусалиме.

— А может, раньше встретимся с ней в Краснополье? — мечтательно сказал я. — Разбогатеем и поедем.

— Может, и разбогатеем, — согласилась ворона. — Но Малку мы в Краснополье не встретим. Она умерла. И последние слова ее были про нас: как там Геник и Златка?

В тот же день я позвонил в Краснополье. Мама удивилась моему звонку, я не звонил уже три года, и сказала:

— Как была бы тетя Малка рада услышать твой голос.

До асисая оставалась неделя, и у нас с вороной в запасе было только два десятка долларов и столько же фудстемпов. Я поменял у хомоатенды фудстемпы, и на все деньги купил цветы. Мы с вороной пошли на ближайшее к нам Вашингтонское кладбище и разложили по цветку к памятникам незнакомым нам людям. Ко всем подряд. Насколько хватило цветов. В память о Малке.

В ту же ночь пришел к нам Стивен. Бледный молодой человек с викторианскими усами английского джентльмена. И с водяными глазами, как у всех привидений.

Вы никогда не встречались с приведениями? Я вам скажу, это совершенно обыкновенные люди. Какими были при жизни, такими и остаются. Как говорила наша Малка, душа не меняется! Душа дается один раз и навсегда, как говорил этот Корчагин! Она всегда с нами!

Я вам скажу по секрету, только не говорите об этом моей Зине, Стивен иногда заходил ко мне и в Минске. И всегда с интересными идеями. У него не голова, а дом советов, как говорили у нас в Краснополье. Вы знаете, свою первую антологию поэзии я составил не без его помощи. И что, вы думаете — он теперь предложил мне сумасшедшую идею: составить антологию американской поэзии для сумасшедших американцев!

— Бред! — сказала Златка.

И я с ней согласился.

Но вы не знаете Стивена! Если он что-то задумает, то не отступит. Он будил меня по пять раз за ночь. Вваливался в квартиру прямо через стену. Вы думаете, это приятно, когда из стены высовывается рука и щекочет пятку? И я сдался. Работали, как вы понимаете, по ночам. Ибо Стивен иначе не мог: приведение все-таки!

Я не помню точно, сколько у нас ушло времени на эту книгу, но в конце концов мы отправили рукопись в издательство. И вы можете не поверить, но нам позвонили на следующий день. По телефону говорила Златка, так как английский она знает лучше меня.

— Это к вам из издательства, — сказали в трубке. — У нас к вам небольшой вопрос.

Златка от радости подлетела к потолку.

— О'кей! — говорит. — Трепитесь.

— Не можете ли вы нам уточнить, кто скрывается под псевдонимом Стивена Крейна?

— Какой псевдоним? — возмутилась Златка. — Это он сам!

— Он однофамилец поэта девятнадцатого века Стивена Крейна?

Златка подмигнула мне правым крылом и, сделав круг по комнате, как стайер после победы, вновь взяла трубку.

— Ошибаетесь, — ворона выдержала паузу и закончила фразу: — Это он сам!

— Что?! — закричали в трубке. — Стивен Крейн умер почти сто лет назад!

— Правильно, — сказала Златка. — Но Стивен Крейн в виде привидения работал над рукописью этой антологии весь этот год, и вчера мы пили с ним чай! Он любит английский!

— Вы сумасшедшие?! — воскликнули в трубке.

— Вы правы, — согласилась ворона. — Но мы этого не скрываем и написали об этом в предисловии!

— Мы думали, что это мистификация.

— Какая мистификация?! — возмутилась ворона. — У мистера Генриха есть справка, что он сумасшедший, а мистер

Клейн не может представить вам справку, так как я вам говорила, он привидение! А привидениям справок не дают! Из всей нашей соавторской группы единственная не сумасшедшая я!

— А кто вы? — осторожно спросили в трубке.

— Ворона! — гордо сказала Златка. — Обыкновенная говорящая ворона.

— Вау! — ойкнули в трубке.

И что вы думаете, мистер Баскин? Книга вышла и заняла первое место в рейтинге «Нью-Йорк Таймс»! Правда, поэзия есть поэзия, и денег она нам вначале не принесла.

Но Стив сказал, что все еще впереди!

И так оно и получилось. Среди бела дня врывается к нам Стив. У Златки перья встали дыбом: привидение днем! Думаем, он это или не он, или мы с ума сошли.

А он кричит:

— Господа, включайте телевизор!

— Амелхоме, — испугалась ворона. — Русские бомбят?

Но Стив ее не понял:

— Нет, — говорит. — Просто сейчас показывают кое-что поинтереснее, чем история про Монику!

Включаем телевизор. И видим мой портрет на весь экран. И ведущий сообщает, что какой-то сумасшедший миллиардер учредил сумасшедшую премию в миллиард долларов за лучшее произведение сумасшедшего гения! И первым сумасшедшим гением оказался я!

— Ой, как будет рада Малка, когда узнает, что ты стал богатым, — сказала ворона.

— Как она узнает? — укоризненно посмотрел я на Златку.

— Сумасшедший, — сказала ворона. — Стив же может ей передать. Это вам не трудно будет, мистер Стив?

— Что за разговор? — обиделся Стив.

И мы начали от радости прыгать по квартире, как самые настоящие сумасшедшие. И тут пришла Данута и, увидев нас в таком состоянии, вызвала скорую помощь. И вот мы здесь уже вторые сутки. Я — в этой палате, Стив — в соседней, а Златка на улице. И они ее сюда не пускают. Правда, она до-

гадалась и вчера отстучала мне по азбуке Морзе, что вечером мне звонила Зина и говорила, что видела меня по телевизору. И что Наташка не может без меня. Вы понимаете, мистер Баскин, они хотят возвратиться. И что, вы думаете, им отвечает Златка? Что я сумасшедший, но не дурак, и поэтому они мне не нужны! Птица есть птица, даже если она умная и умеет разговаривать. Разве ей понять человека? Разве она может понять, что мой золотой шар — это Наташка! И другого золотого шара мне не надо! Мистер Баскин, скажите им, чтобы пустили сюда ворону! Мне надо с ней поговорить! Надо!

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПИРОСМАНИ

Памяти друга, художника Ю. Герасименко

В жизни бывают минуты светлые и горькие.
Мне больше досталось горьких.
Нико Пиросмани

Жираф

Вы видели жирафа Пиросмани? Среди голой равнины — загадочный серебристый жираф, глядящий на нас мудрыми человечьими глазами Судьи и Пророка. Здесь, в Нью-Йорке, он часто приходит ко мне во сне. Я всегда просыпаюсь буквально сразу после этого видения и потом долго не могу заснуть. Я знаю, что Он знает, что было со мной и что будет. А я знаю только то, что было.

Мой дедушка Шмуел мне часто говорил:

— Давид, если ты хочешь узнать, что тебя ждет впереди, посмотри назад. В жизни — как в природе: что засеял сегодня, завтра получишь. Я понимаю, конечно, молодым неинтересно, что говорят старики. Им кажется, что они умнее всех. Я тебе скажу честно, я сам таким был! И что? Дождался революции! И вместо того, чтобы торговать лесом в Ошмянах, как мой папа, я работаю счетоводом в Краснопольском сельпо! Почаще смотри в свое прошлое, внучек, и ищи в нем ответы на свои сегодняшние вопросы. Когда я был такой маленький, как ты, папа учил со мною Тору, и мне запомнилось: каждый колосок на твоем поле — дело рук твоих.

И просыпаясь среди ночи от щемящего взгляда Жирафа, я вспоминаю слова дедушки и смотрю в свое прошлое. И тогда иногда то, что раньше казалось смешным, начинает

казаться грустным, а темное — наоборот, вдруг открывается светлой стороной.

Часто я вспоминаю себя маленьким. Далекие послевоенные годы всплывают в памяти грустными и смешными историями.

У нас дома политикой интересовались только двое: дедушка и я. Дедушка читал газету медленно, растягивая удовольствие на пару дней: днем за обедом он прочитывал новости страны, вечером за ужином переходил к международным событиям, а наутро, к завтраку, оставлял «майсы» — письма читателей, заметки на бытовые темы.

— Конечно, — говорил он мне, — «Известия» это не «Биржевые ведомости», которые получал мой папа, но кое-что любопытное можно найти и здесь

Я же перехватывал почтальона еще в начале улицы и прочитывал газету от корки до корки сразу. Бабушка с умилением смотрела на меня и говорила:

— Зуналэ, ты же только научился читать! Почитай лучше сказки! На что тебе вся эта политика? Чем меньше ее знаешь, тем спокойнее живешь. Ты не знал мужа нашей Малки, а я знала. Хороший был человек! И что? Занялся политикой и пропал. Зуналэ, послушай вос загт а бобэ (что говорит бабушка): при нашей милухе (правительстве) политика — это агрэйсэ цорэ (беда)!

Бабушка не умела читать по-русски, но очень любила, чтобы я ей пересказывал газетные майсы, пока она крутилась на кухне.

— Дос ис а лебун, это жизнь! — вздыхала она, слушая в моем пересказе очерки Татьяны Тэсс. Я запомнил эту фамилию, так как долго думал, что ТАСС и Тэсс это одно и то же.

Бабушка была большая любительница чистоты и порядка, без дела она никогда не сидела. И когда я однажды влетел в дом с газетой в руках и увидел бабушку, сидящую на скамеечке и ничего не делающую, я растерянно остановился:

— Что случилось?

— Фарвос гоб их дос гезакт? Почему я это сказала? Их бин а мишугине! Я сумасшедшая! Вос вет дос зайн? Что будет те-

перь? — когда бабушка волновалась, она начисто забывала все русские слова и говорила только на идиш. — Зуналэ, их бин а шпион! Сыночек, я — шпион!

— Ты шпион?! — я удивленно посмотрел на бабушку, ничего не понимая.

— Так сказала Титовна, — заплакала бабушка. — И она еще сказала, что меня арестуют!

— Почему она так сказала? — спросил я.

— Она бросала на наш огород ботву, и я попросила ее не делать этого, тогда она сказала, что я и Голда Меир родственники! И поэтому я — шпион! И надо было мне про эту ботву говорить?! — запричитала бабушку, прижимая к глазам край передника. — Вос вет дос зайн? Что будет?

Дедушка, пришедший как раз в это время на обед, разволновался не меньше бабушки:

— Если бы ты читала газеты и знала, что пишут про Голду Меир, то поняла бы, что всем Мееровичам, Мерзонам и Меерсонам надо быть тише воды и ниже травы! И у нас к счастью эта самая фамилия! Так что теперь остается только ждать!

— Что ждать? — обреченно спросила бабушка.

— Когда за нами придут, — сказал дедушка.

И тут меня осенило, снизошло вдохновение, как сказал бы я сейчас.

— Бабушка, — закричал я, — не плачь! Титовне тоже надо быть тише воды и ниже травы!

— Почему? — дедушка удивленно посмотрел на меня.

— Потому что газеты пишут не только про Голду Меир! — прокричал я и, ничего дальше не объясняя, помчался в огород.

Соседка все еще возилась на грядках и, увидев меня, демонстративно стала кидать ботву на нашу межу: сегодня она была победительницей — напугала Меерсониху!

— Титовна, — сказал я, едва удерживая дрожь от охватившего меня волнения, — а почему вас все зовут Титовной?

— Як чаму? — Титовна, совершенно не ожидавшая такого вопроса, удивленно посмотрела на меня и выкрикнула: — Таму что бацька мой Тіт!

— Все ясно, — сказал я, как любимый мой Шерлок Холмс, нашедший истину. — Выходит, вы родственница шпиона и изменника, кровавого палача Иосипа Броз Тито!

От моих слов Титовна замерла, как статуя на ВДНХ, с высоко поднятым серпом одной руке и ботвой в другой.

А я спокойно повернулся и пошел назад домой... Соседка несколько минут оторопело глядела вслед мне, а потом побежала за мной, причитая:

— Унучачак, што ты кажаш? Якая я шпіонка?

Она влетела в наш дом и заголосила, кинувшись перед бабушкой на колени:

— Меерсоніха, ты ж ведаеш нас! Якая я шпіенка? Скажы свайму унучку, што мы не ворагі! А тое ж ен, дзіця неразумнае, яшчэ у школе, каму пра гэта скажа! А бацвінне я убяру! Зараз!

Вечером к нам зашел муж Титовны и был он напуган не меньше, чем его жена. И чтобы его успокоить, мне пришлось дать честное пионерское, что я никому ни чего не скажу.

Тогда, в пятидесятые годы, эта история казалась нам кошмаром, и долго у нас в доме еще бродили беспокойные сны. Мы подхватывались среди ночи, услышав шум проезжающей машины: не за нами ли приехал черный ворон?

А сейчас я вспоминаю ее как веселый анекдот, и мои друзья смеются, когда я им его рассказываю.

Так я впервые встретился с Политикой. В первый, но не в последний раз. С Пиросмани у меня тоже была политическая встреча, как шутил мой друг Юрась. Мне было тогда лет десять-одиннадцать, точно не помню. За хорошую работу в колхозе наш класс наградили поездкой в Москву. Разговоров было на все Краснополье.

Мой дедушка шутил:

— Давид, ты становишься большим человеком! Ты первый еврейский ребенок из Краснополья, который увидит своими глазами Кремль. И, может быть, товарища Хрущева, который дал под зад товарищу Сталину!

Хрущева я, конечно, не увидел, но неожиданно попал на выставку, которая определила мою судьбу на всю жизнь. Не знаю, по какой причине в самый последний день нашего пре-

бывания в Москве нас, малышей, повезли на художественную выставку. Выставка размещалась в двух залах: в первом висели картины Нико Пиросмани, во втором — французского художника Анри Руссо. Наша ребячья компания почти не задержалась в первом зале, а помчалась сразу во второй рассматривать волшебные джунгли Руссо. А я остался в первом. Я сейчас даже затрудняюсь объяснить почему. Я остановился перед совсем не детской картиной «Бездетный миллионер и бедная с детьми». Я ощутил какую-то неимоверную жалость к грустно смотрящему на меня миллионеру и его жене. Я вспомнил бабушкину сестру Малку, которая жила в Пензе. Бабушка часто вспоминала ее и говорила:

— Не дай Б-г нашему врагу прожить такую жизнь. Одна, как палка, осталась. Был бы ребенок — совсем другое дело, а так под старость кружку воды некому будет подать.

Я смотрел на миллионершу Пиросмани и представлял себе нашу Малку. Когда учительница вернулась за мной в первый зал, я все еще стоял у этой картины и плакал. Учительница посмотрела на картину, почитала подпись под ней и сказала:

— Давид, тебе жалко бедную женщину?

— Нет, — сказал я, утирая слезы, катившиеся по щекам, — мне жалко бездетного миллионера.

— Давид, что ты говоришь? — растерялась учительница. — Чего его жалеть? Он же капиталист, эксплуататор.

— А мне жалко, — честно сказал я. — Он как наша Малка.

Учительница посмотрела испуганными глазами на меня, потом по сторонам и, увидев в углу зала высокую седую грузинку, обратилась за помощью к ней:

— Скажите, пожалуйста, мальчику, что стыдно жалеть капиталиста.

— Жалеть никого не стыдно! — неожиданно для нашей учительницы ответила женщина. — Это когда-то сказала мать Сосо своему сыну. Но он ее не послушал. И стал тираном. — Женщина вздохнула, поправила прядь седых волос и добавила: — Все едины перед Б-гом, дочка. И бедные, и богатые. И кто знает, чье горе больнее: бездетного миллионера или беднячки

с детьми. Пиросмани не стал им судьей. И мы не будем судить. А мальчик — умница. Он будет большой знаток Пиросмани. Большой! — грузинка грустно посмотрела на учительницу и тихо добавила: — Дочка, учи детей жалости, иначе появятся новые тираны.

Учительница ничего не ответила женщине, она молча взяла меня за руку и увела из зала.

Я не знаю, что учительница рассказала обо мне в школе, но меня с этого времени все учителя называли специалистом по Пиросмани. И, как это не покажется удивительным, я им стал. Окончил институт, написал кандидатскую, стал искусствоведом, специалистом по Пиросмани.

Хотя мишпоха мне дала другое имя — Польский Жених! Так называли у нас в местечке старых холостяков. Я себя не считал старым, но мишпоха решила иначе. И все началось со свадьбы Семы, сына дяди Миши из Гомеля. На этой свадьбе все говорили не о молодоженах, а обо мне.

— Хана, куда ты смотришь? — сказала мамина сестра Рахиль. — Сема на восемь лет моложе Давида, и уже женится. Ты хочешь, чтобы Давид в сорок лет имел ребенка, и все бы думали, что это дедушка с внуком?

— Но ему еще не сорок, а всего лишь тридцать, — сказала мама, — а это большая разница!

— Ты помнишь Лейзерову Симу, — возразила ей Рахиль. — Они все время тоже говорили еще не тридцать, еще не сорок... И что? Осталось старой девой!

— Но он же парень, — попыталась сказать мама и получила убийственный ответ:

— В тридцать лет это уже а полишер хосун (польский жених)!

И мне начали искать невесту. Пошли письма из Краснополья и в Краснополье. Отозвались самые дальние родственники. И начались мои путешествия в поисках невесты. Я вам скажу, за всю свою жизнь я не повидал бы столько мест, если бы не эти поиски. Почти каждый месяц мне мама звонила в Минск.

— Давид, собирайся, тетя Клара нашла хорошую девочку... Давид, покупай билет, дядя Алтэр зовет в гости... У его жены Симы есть племянница...

И чем, вы думаете, заканчивались эти путешествия? Ничем. Не знаю почему, но никто мне не нравился. И тогда тетя Роза из Харькова в сердцах сказала:

— Все! Я познакомила его с тремя изюминками. И что? Ни одна ему не подходит! Больше я за это дело не берусь. Мне не надо этой головной боли. Ему нужна принцесса — отправь его, как дядю Моню, в Америку.

Дядя Моня, дедушкин брат, уехал в Америку еще до революции. И, как тогда часто случалось, следы его пропали. И потому он теперь служил всей мишпохе примером неудачника. Что бы ни случилось, все вспоминали дядю Моню: хочет разбогатеть, как дядя Моня, хочет стать умным, как дядя Моня, хочет жениться, как дядя Моня...

Когда меня сравнили с дядей Моней, я понял, что женитьба для меня совершенно безнадежное дело.

— Хана, Давид прошел уже через тот возраст, когда влюбляются, — подвела черту под моими поисками тетя Рахиль. — Сейчас он выбирает невесту, как Аврум корову. То рога кривые, то глаза большие, то молоко — одни сливки. Одним словом, польский жених.

Мой друг, художник Юрась, который знал только о половине моих встреч, сказал:

— Додик, ты не знаешь, что хочешь.

— Знаю, — возразил я. — Как говорил мой дедушка, я хочу марципану, с двух сторон помазанную маслом, чтобы в руки нельзя было взять.

Я шутил, но скажу вам честно, в душе моей пропала вера, что я когда-нибудь женюсь.

И вдруг совершенно случайно я встретил ЕЕ. Начало было будничным и не предвещало ничего неожиданного. Позвонил Юрась и сказал, что в каком-то захудалом клубе в Зеленом Лугу открыли выставку репрессированных художников.

— Давай подъедем, — предложил Юрась.

И мы поехали.

В маленьком тесном фойе клуба, буквально давя друг друга, висело полтора десятка картин. Мы попали туда перед очередным киносеансом, и зрителей, ожидавших начало, в фойе было довольно много. Я увидел ее сразу. Вернее не ее, а портрет девушки. Портрет висел в стороне, рядом со стендом передовиков производства. Но мы с Юрасем сразу пошли прямо к нему. Как в Лувре идут к Джоконде. На портрете была не просто девушка, а мечта, сказка, идеал...

— Такой красоты в жизни не бывает, — сказал я и повернулся к Юрасю.

И замер. Я увидел ее. Она смотрела на портрет, как будто смотрелась в зеркало.

— Это вы? — спросил я, понимая глупость моего вопроса.

— Что вы!? — улыбнулась девушка. — Я еще не родилась, когда был написан этот портрет.

— Но сходство удивительное! — сказал я.

— Я похожа на маму, — сказала девушка. — А это ее портрет, — она сверкнула своими блестящими влажными глазами и вздохнула, — дочкам быть похожими на мам плохо. Есть такая примета. А в нашей семье все дочки похожи на мам. Потому и маемся, — она вопросительно посмотрела на меня и тихо добавила: — Этот мамин портрет нарисовал ее жених. Его арестовали за два дня до свадьбы. Больше они не виделись...

Что вам сказать? Как говорил мой дедушка, когда видишь на столе цимес, разве можно думать о чем-то другом? Когда я увидел Риту, я сразу понял, что это моя судьба. И почему-то подумал, что судьба нелегкая.

Я забросил работу над книгой о Пиросмани, забыл свои ежедневные посиделки в мастерской Юрася. Я мог думать только о ней, и видеть мне хотелось только ее. Мы встречались с ней каждый день, но через месяц я знал о ней не больше, чем после первой встречи. Когда я дома рассказал о ней и мама спросила, кто ее родители, я только пожал плечами: я не знал. Мы с ней не говорили об этом. Я только знал, что она учится в театральном, а ее мама — учительница. А про отца она вообще никогда не говорила.

— Она хоть еврейка? — спросила тетя Роза. — Или ты это тоже не знаешь?

— Ты специально приехала из Харькова, чтобы задать этот вопрос? — спросила мама. — Слава Б-гу, Давид влюбился, и больше меня ничего не интересует!

— Даже если она еврейка, это еще не значит, что она хала с медом! — вставила свое слово тетя Рахиль. — Ты же знаешь невестку нашего Зелика. Когда он остался один, то решил переехать к сыну в Могилев. И что? Прилетел оттуда, как подстреленный. А раньше бегал по Краснополью и всем кричал: наша Гиточка — золотце! А теперь про это золотце вспоминать не хочет!

— Но лучше, если бы она была все-таки еврейкой, — вставил свои пять копеек дядя Соломон. — В жизни всякое бывает: иногда поругаются из-за чепухи, а когда жена гойка, будешь думать всякое. И ей плохо, и тебе.

— Она еврейка, — успокоил я мишпоху. — Портрет ее мамы называется «Суламифь».

После этого разговора мама не вспоминала про Риту до самого моего отъезда, как будто боялась спугнуть мое везение, но на автобусной станции, когда до отправки автобуса осталось всего несколько минут, сказала:

— Зуналэ, с родителями Риты тебе надо познакомиться. Месяц встречаешься с ней, и неужели они не хотят тебя увидеть? Я не знаю, может, в городе так принято, но у нас — по-другому. И к нам пусть приедут. Ведь им тоже, наверное, интересно знать, кто мы. Как говорят у нас: кошерную халу можно испечь только из кошерной муки!

Я кивнул маме в знак согласия, но Рите ничего не сказал.

Мы встречались еще месяца два, и вдруг она сама сказала:

— Папа хочет с тобой познакомиться.

Она не сказала «родители», не сказала «мама», она сказала — «папа». И добавила:

— Давид, я тебе не говорила: папа сейчас на пенсии, а раньше он работал в органах.

— Милиции? — уточнил я.

— Нет, — сказала Рита.

И я понял, в каких он работал органах.

— Разве там работают евреи? — удивился я.

— Да, — сказала Рита.

Где наш Хаим не бывает — вспомнилась мне поговорка дяди Соломона, но вслух я ее не сказал.

В тот день Рита впервые заговорила об отце.

— Папа добрый. Мне бабушка рассказывала, что когда арестовали Сему, все ждали, что придут за мамой. Дедушка говорил: «Если даже Голду не арестуют, то все равно в нашем доме счастья не будет. Кто ее теперь возьмет замуж? В наших Осиповичах евреи не дураки». Но, слава Б-гу, нашелся один дурак — твой папа, и взял Голду! — так закончила свой рассказ бабушка. Услышав эту семейную историю, я в тот же вечер пересказала ее папе и спросила: «Это правда, что ты дурак?» Папа долго смеялся в ответ, а потом сказал: «Какой же я дурак, если взял такую красавицу, как наша мама, в жены? К ней сватались все парни в Осиповичах, а досталась она мне».

И вправду, Натан Григорьевич был не дурак. Он оказался остроумным, интересным собеседником. За столом в основном говорил он. Как-то само собой разговор перешел на искусство, и оказалось, что и в нем Натан Григорьевич вполне профессионально разбирался. Я удивился:

— Искусство ваше хобби?

— Нет, — засмеялся он. — Профессия! Я курировал эту область. Довольно долгое время. Иногда и теперь просят помочь разобраться в различных «-измах», которыми так богато искусство. Но я вам честно скажу: современных художников я слабо понимаю. Не то воспитание. Как говорила в Бобруйске мадам Рабинович, уже не тот возраст, чтобы обходится в доме одним мужем! Требуется помощник! — Натан Григорьевич поправил очки и вопросительно посмотрел на меня.

Я с трудом отвел от него взгляд и увидел, как прикусила губы Рита, как опустила глаза Ритина мама, и меня внезапно охватил страх, наверное, такой же, какой чувствовала бабушка, когда Титовна назвала ее шпионкой. Не помню кто, кажется, Шекли, написал, что страх имеет Запах. И зверь его чувствует! Сидящий напротив меня человек, как зверь,

чувствовал мой запах страха. Я понял это по его глазам. И опять вспомнил рассказ Шекли. Есть два выхода, чтобы спастись: бежать или пересилить страх. Я сжался в ожидании прыжка. И он прыгнул.

— Прекрасный молодой человек рисует прекрасные рисунки к прекрасным детским книжкам и получает прекрасную возможность отдохнуть в прекрасном доме творчества под Москвой. И что он там рисует, как вы думаете? — Натан Григорьевич вдохнул воздух, желая убедиться, что мой страх не исчез, и замер, ожидая ответ.

— Он рисует прекрасных дам! — спасая меня, воскликнула Рита.

Я знал, что рисовал в Малеевке Юрась. И Рита знала. Она попыталась перевести разговор в шутку, но не получилось.

— Нет, он не рисовал прекрасных дам. Ты ошиблась, дочка, — Натан Григорьевич улыбнулся и обратился ко мне. Ему нужен был мой ответ. — Молодой человек знает, что искусство не живет по законам логики. Оно живет вопреки ним. Не правда ли?

— Вы правы насчет логики, — сказал я и отшвырнул страх, как тогда, на бабушкином огороде. — Но в отсутствии логики есть высшая логика творчества, — я сказал заумно, страх был еще рядом, и тогда я подцепил его ногой, как футбольный мяч и, перебросив через голову назад, спокойно сказал: — Мой друг Юрась рисовал в Малеевке свалки большого города.

— Москвы! — уточнил Натан Григорьевич

— Большого города, — повторил я, не обращая внимания на его замечание. — В груде искореженного металла — наш век, с его проблемами и радостями, — страх прошел, и я, сбросив груз страха, неожиданно для него спросил: — А вы видели эти листы?

— Нет, — сказал он. — Но их видели большие художники.

— О, это неповторимое выражение — видели другие! — отбросив страх, я забыл про осторожность. — А кто скажет, кто большой, а кто маленький? — я улыбнулся. — Указами это не определить. И линейкой не измерить.

Он понял, что я побеждаю. И ловко перевел разговор на другую тему. И в это время подали мою любимую мочанку. И Ритина мама сказала, что ее готовила Рита. И Рита сказала, что картошку натирал папа. И я расслабился, я подумал, что можно успокоиться. Но сдаваться он не был приучен. Он знал, что за ним власть, а за мной ничего. И, когда я прощался, буквально на пороге, он неожиданно сказал:

— А вы высказали интересные мысли о рисунках вашего друга. Вот и напишите про это, а мы прочтем! — он открыл мышеловку и закрепил пружину: — Пожалуйста, в двух экземплярах. Мы ждем!

Он не сказал — я, он сказал — МЫ! И я почувствовал свое бессилие перед этим — МЫ. И страх возвратился ко мне. Я не смог его отшвырнуть от себя. Но он не смог превратить меня в подлеца. Я ничего не написал. Я просто ушел из этой семьи. Рита несколько раз мне звонила, но я ссылался на неотложные дела, и она поняла, что я не хочу с ней встречаться.

Я боялся. Страх на какое-то время убил во мне все чувства — и любовь...

Я ждал, что меня вызовут туда. Но не вызвали. И теперь я знаю почему.

Когда-то дедушка мне говорил, что пройти через реку, не замочившись, может только Моисей. Я хотел пройти через реку Подлости и остаться Честным. Но не смог. Я это понял потом, а тогда я думал, что поступаю честно: я не предал Юрася, я отверг Риту, я не смолчал перед Натаном Григорьевичем. Хлопайте в ладоши: я — герой! Я — герой...

Когда мама спросила меня про Риту, сказал, что я Рите разонравился. Я не мог соврать, что она мне не нравится. Не мог...

— И слава Б-гу, — сказала мама. — Я тебе раньше не говорила, но сейчас скажу: из артисток хорошие жены не получаются. Это даже лучше, что вы расстались до свадьбы, а не после нее.

Она долго успокаивала меня, а потом неожиданно сказала:

— По глазам, Зуналэ, я вижу, что ты ее любишь.

— Люблю, — честно сказал я.

В эту минуту мне захотелось рассказать маме обо всем и спросить совета, но я пересилил себя и ничего не сказал: я не хотел делиться с мамой своим страхом. Страх я оставил себе.

Юрась тоже поинтересовался, почему я перестал встречаться с Ритой. Я ему не рассказал про мой разговор с Натаном Григорьевичем, но я сказал ему больше, чем маме: я сказал ему, что Ритин отец работает в органах.

— Ну и что? — сказал Юрась и пошутил: — Как говорил товарищ Сталин, сын за отца не отвечает. А дочка тем более.

Я ничего ему не ответил. И он понял мое молчание и спросил:

— Боишься стать Павликом Морозовым?

— Да, — ответил я.

И больше он ничего не спросил. И мы вообще об этом перестали говорить.

Родственники опять стали искать мне невесту, но дело не дошло даже до встречи, ибо у мишпохи возникла новая проблема — Америка. Потихоньку стали уезжать все родные, и в конце концов очередь дошла до нас.

— Все наши уехали, — сказала мама. — Даже дядя Наум, у которого жена русская и все дети записаны русскими. Не оставаться же нам здесь одним, чтобы все на нас показывали пальцами.

Я понимал, что в Америке мне будет трудно. Кому там нужен специалист по Пиросмани? Но я знал еще, что уехать туда — это значит, избавится от страха, который продолжал все еще жить во мне. Прошло полгода, как я не встречался с Ритой, и никто не напоминал мне о разговоре с Натаном Григорьевичем, но когда мама заговорила об Америке, я вспомнил о страхе. И до последнего дня, уже сидя в аэропорту, думал, что меня в Америку не пустят. Но — пустили!

Кахетинский поезд

У Пиросмани в картинах всегда присутствует ощущение человеческого состояния. Не знаю, как кто, но я всегда нахожу среди его картин ту единственную, которая соответствует моему состоянию в тот или иной момент моей жизни.

Первые годы в Америке — это Кахетинский поезд. Поезд, который то ли прибыл на станцию, то ли проносится мимо нее.

Дым стелется из трубы, как будто прижат встречным воздухом, а вагоны, в отличие от паровоза, замерли: под ними нет колес. Это было похоже на мое движение здесь: я двигался и в то же время оставался на месте. Я нашел работу полотера в гостинице, и вся мишпоха смотрела на меня как на счастливца: сразу нашел работу на чек и с бенефитами.

— Хана, — сказала тетя Роза. — Твой Додик родился в рубашке. Мои дети здесь четыре года, и никак не могут найти себе что-нибудь приличное. Сема крутится, как проклятый, на карсервисе, а Неля вообще сидит дома, как Анюта на чайнике.

— Розочка, — вздохнула мама, — конечно, мы счастливы, что у Давида есть работа, но когда я вижу, какие у него печальные глаза, когда он приходит после этой работы, мне хочется сказать, как говорил наш папа: что хорошо Саре, не всегда хорошо Абраму!

— Я тебя понимаю, Хана, — успокаивал маму дядя Соломон. — Мы все там кем-то были. Но — все! Уехали — и надо забыть! Я тоже, как-никак, что-то имел. Я не хочу сказать, что я был, как Додик, но у нас в конторе меня уважали. И это не мешает мне подметать улицу перед магазином Михла, которого мы в Краснополье за человека не считали! Михл-кихул и все! А здесь он мистер Майкл. И я снимаю шляпу перед ним. И говорю, слава Б-гу, потому что он дал мне работу. А работа — это хлеб и немножко к хлебу, и да процветает бизнес Михла в веки веков!

Дядя Соломон, конечно, прав во многом, но разве душе прикажешь забыть то, что было?

Я — пассажир Кахетинского поезда. Я смотрю из окошка на перрон. А на нем, открыв свои глотки, лежат огромные кеври — грузинские кувшины, такие же огромные бочки и бурдюки. И в них не вино, а память. Память, оставленная на перроне. И я знаю, что вагоны не тронутся с места, пока память здесь. И как маленькая надежда — одинокий человек на перроне, подающий в вагон бурдюк. Бурдюк с памятью. И я знаю, в жизни всегда так: память о прошлом дает возможность двинуться вперед! Ошибается тот, кто думает, что прошлое это ненужный груз!

Я не сторонник того, что бывают работы хорошие и плохие, трудные и легкие. Работа полотера не хуже и не лучше работы искусствоведа. Но работа должна соответствовать душе человека. Дедушка мне рассказывал о своем друге Авроме. Родители его были уважаемые в Краснополье люди: папа-провизор, мама-провизор. Дело было до революции: у них была своя аптека. И они решили сделать Авромку тоже провизором. И Авромка зачах. Он начал таять на глазах, как ледышка весной. И тогда его повезли в Могилев к доктору Лурье. И доктор беседовал с Авромкой с глазу на глаз целый час. И потом сказал папе с мамой: если вы желаете счастья и здоровья своему ребенку, не делайте из него провизора. Сделайте из него пастуха! Хотя бы на одно лето! И что вы думаете? Они так и сделали. И Авромка ожил! После революции он стал председателем еврейского колхоза. И был счастливым человеком, пока его не посадили в тридцать седьмом.

Я старался привыкнуть к своему полотерству и убеждал себя, что всей душой люблю это дело. Не поверите, но за три года в Нью-Йорке я так и не выбрался в Метрополитен-музей! И это, вы скажете, искусствовед?! Как писал когда-то Шишкин: «Гляди на него, этого урода — был за границей, а в Париже-то и не был, а без этого, что за человек? Так, плюнуть и только». Писал, кстати, о себе.

Я старался забыть прошлое, чтобы привыкнуть к настоящему. И, как дядя Соломон, радоваться тому, что есть. Но не получилось. К счастью!

Однажды, натирая полы в одном из номеров отеля, я увидел альбом Пиросмани. Шикарное издание Skira. С лаконичным фирменным «S» на обложке. Нам строго запрещалось трогать вещи постояльцев, но я не выдержал. Я взял альбом в руки и... забыл обо всем. Я даже не услышал, когда в номер зашел хозяин. Он несколько минут наблюдал за мной, а потом осторожно дотронулся до меня:

— Мистер, я вижу, вам нравится этот художник?

Я вздрогнул, как ребенок, застигнутый за недозволенным, и уронил альбом. Он подхватил его и протянул мне, повторив вопрос. А потом мы долго говорил о Пиросмани, об искусстве,

Метрополитен-музей о жизни. Хозяином номера оказался профессор из Гарварда, искусствовед. Как говорят евреи, споткнувшись, одни разбивают лоб, а другие находят бриллианты. Я нашел бриллиант! Буквально через неделю я получил официальное письмо из Гарварда, меня просили прочитать курс лекций по творчеству Пиросмани.

Мама, когда я прочитал ей это письмо, вскочила со стула и закричала на всю квартиру:

— Готуню, ты услышал меня! Додик опять стал специалистом по Пиросмани! Я знала, что это будет! Теперь я могу спокойно умереть! Сейчас я позвоню всем и всех обрадую!

И первому она позвонила дядю Соломону, и он сразу же сказал:

— Хая, это надо отметить. Идем в ресторан! Еще наш папа говорил, что жизнь без праздника — это не жизнь! Устроим маленький праздник.

Ресторан выбирал дядя Соломон. И он выбрал самый большой.

— Чтобы все нас видели! — сказал он.

— И мы всех, — добавила тетя Роза

Я не люблю рестораны. Но мишпохе отказать я не мог. В этот вечер в ресторане праздновали одновременно две свадьбы, три дня рождения и мой скромный успех. Каждая компания веселилась сама по себе. Ведущий ресторанного ансамбля зачитывал приветствия, вызывал к микрофону желающих сказать добрые слова. У микрофона не было отбоя от желающих. И даже дядя Соломон произнес в микрофон спич в мою честь. И вдруг я услышал усиленный микрофоном знакомый мне голос. Со знакомыми до боли словами.

— Прекрасному молодому человеку мы отдаем сегодня нашу прекрасную дочь. Пусть будет прекрасной ваша совместная жизнь! Горько!

Я вздрогнул. Приподнялся с места, чтобы разглядеть человека у микрофона. Я узнал его сразу, он совершенно не изменился, как будто не прошло целых пять лет со дня нашей последней встречи. Такой же подтянутый, аккуратный, с копной седых волос. Я несколько секунд смотрел на него, а потом

мой взгляд повернулся к тем, к кому обращался Натан Григорьевич. Я ожидал увидеть Риту. Я хотел ее увидеть и одновременно, почему-то, боялся этого. Но невестой была не Рита. И это меня обрадовало. И мне вдруг до боли захотелось увидеть Риту, услышать ее голос, дотронутся до ее волос... Мама заметила мой взгляд, мое изменившееся лицо и тихонько, наклонившись ко мне, спросила:

— Что с тобой? Ты кого увидел?

— Знакомого, — сказал я. — Из Минска.

— Хорошего или плохого знакомого? — осторожно спросила мама.

— Плохого, — сказал я, — но мне хочется с ним поговорить.

— Подойди, — сказала мама.

И я, дождавшись, когда он выйдет в фойе покурить, подошел к нему.

Он узнал меня тоже. Встрече не удивился. Даже пошутил:

— Если хочешь встретить знакомого еврея, приезжай в Америку! И сходи в русский ресторан!

А потом сказал, не ожидая моего вопроса:

— Дочку жены выдаем замуж. Голда умерла, и я второй раз женился, и вот с новой семьей уже год, как в Америке. В Нью-Джерси живем. А жених отсюда. Живем неплохо: дом купили, маленький ландромат держим, — и пояснил для чего-то, — прачечную по-нашему. И еще парикмахерскую держим: жена там крутится, а я в этой прачечной! А ты где? В Нью-Йорке?

— В Гарварде, — сказал я. — Преподаю в университете.

Он удивленно посмотрел на меня. И я добавил:

— Занимаюсь творчеством Пиросмани.

— О, вы специалист по Пиросмани! — сказал он и неожиданно вспомнил Риту. — Мне Рита когда-то об этом говорила. Вам повезло. Все мои знакомые в Америке сменили профессии, — он хотел продолжить начатую тему, но я остановил его:

— И Рита живет в Нью-Джерси?

— Нет, — сказал он, — она осталась в Минске.

— Не захотела ехать? — спросил я.

— Я не мог взять, — как-то виновато сказал он и добавил: — Она была против моей женитьбы. Не сошлась характером с моей Белой и осталась.

— Она живет в вашей старой квартире? — спросил я.

— Нет. Она ушла от меня, когда я женился. И я продал квартиру, — пояснил он и, не ожидая моего вопроса, добавил: — Где она сейчас живет, я не знаю. Она мне письма не пишет.

Он вдруг посмотрел в открытые двери зала и, как бы извиняясь, сказал:

— Уже все возвращаются к столу. Моя благоверная ждет. Я пойду. Позже еще поговорим.

Но позже мы не поговорили. Мне не о чем больше с ним было говорить. Когда я вернулся к столу, мама спросила:

— Это был знакомый Риты?

— Да, — сказал я.

— Я это поняла, Зуналэ, по твоим глазам, — тихо сказала она и спросила: — Она здесь?

— Нет, — сказал я. — В Минске.

В тот вечер она больше ничего не спросила.

Из Гарварда я позвонил Юрасю. Спросил про Риту. Он удивился моему вопросу, ибо целых пять лет я не спрашивал его о ней. И он мне о ней ничего никогда не говорил. Он знал о ней все. Но сказал, что это длинный разговор, не для телефона, и обещал прислать письмо. Я мучительно ждал это письмо. А оно как назло шло очень долго. Целых три недели. Это было не письмо — это был мой приговор. Я не буду пересказывать его, ибо приговор не пересказывают, а зачитывают...

И я его зачитаю.

«...где-то через полгода после твоего отъезда одна из новых газет напечатала архивные материалы по делам репрессированных художников: доносы, протоколы допросов, стенограммы судов. Там были документы и об авторе “Суламифь”. Его допрашивал известный тебе Натан Григорьевич. И он писал обвинительное заключение. Когда это прочитала мать Риты, она покончила с собой. А Рита ушла из дома. Я не хотел тебе об этом писать, но раз просишь — пишу. Рита окончила те-

атральный, но работу в театре не нашла. И пошла работать в варьете к Лешке Реалисту. Ты, наверное, его помнишь. Он рисовал портреты передовиков труда. А теперь рисует портреты передовиков капитала. И поставляет им девочек. Это и есть его варьете. Канкан, Париж и иже... Как у нас говорят: адзін балюе, другі гаруе!»

Я прочитал это маме. И все ей рассказал. И спросил:

— Что мне делать?

— Ты сам знаешь ответ, — сказала мама.

— Знаю, — сказал я.

И еще я сказал:

— Я ее люблю!

— Люби, — ответила мама.

Артистка Маргарита

Герои Пиросмани — это карочохели — тифлисские рыцари без страха и упрека. Я мечтал стать одним из них. Но не стал. Я бежал с поля боя. И оставил свою Маргариту. И теперь возвратился к следам своим...

Я приехал за ней в Минск. Юрась встретил меня в аэропорту.

— Я сказал ей, но она, как видишь, не пришла, — Юрась вздохнул и добавил: — В одну и ту же реку нельзя войти дважды. Все течет, все меняется. Она другая.

— И я другой, — сказал я. — Мы оба другие, и мы нужны друг другу. Ты знаешь, где она? — спросил я.

— Знаю, — сказал Юрась.

И я поехал к ней. Сразу. С аэропорта.

И мы говорили целую вечность. Обо всем.

— Ты знаешь, — сказала она, — это я рассказала отцу про Юрася. И никто его ни о чем не просил тогда. Он ведь пенсионер и давно не работал на Них. Когда ты ушел, мама сказала: «Что тебе надо от мальчика?» И он ответил: «Пусть будет таким, как я! В семье не может быть один чистенький, а все грязненькие. Сталин был не дурак, когда под приговорами собирал подписи всех своих соратников».

— Он хотел меня сделать своим, — грустно пошутил я, — значит, я ему понравился.

— Наверное, — сказала Рита. — Он часто про тебя спрашивал.

И спросила:

— Ты его видел там?

— Да, — сказал я.

Больше она про него ничего не спросила, только сказала:

— Когда мама умирала, она спросила: «Почему мы, евреи, такие? Почему?» — и глазами Суламифь посмотрела на меня.

И я ответил:

— Мы такие, как все. Среди нас есть Маккавеи и Флавии, Кагановичи и Михоэлсы...

Рита вздохнула и добавила:

— Давиды и Риты...

— Давиды плюс Риты, — поправил я ее. — Как говорили когда-то: мы по одну сторону баррикад!

И сказал:

— Я люблю тебя, Рита. Будь моею женой!

— Давид, — сказала она, — возвращайся в Америку и будь счастлив. Ты хороший, ты найдешь себе лучшую, чем я.

— Нет, — ответил я. — Мне не надо другую. Мне нужна ты!

А потом был сельсовет в деревне Юрася. Сельсоветчица долго вертела мой американский паспорт, ища страницу, куда поставить штамп. А потом плюхнула его на страницу, где виза, и объявила нас мужем и женой. Утром я должен был лететь. И мы в тот же вечер возвратились в Минск. Впереди была ночь. Наша первая ночь.

— Я живу с подругой, — сказала Рита.

— Поедем в гостиницу, — предложил я.

— Я не люблю гостиниц, — сказала Рита. — Там меня все знают.

И мы поехали в аэропорт. И просидели до моего отлета в ресторане.

— Сегодня в Америке День Благодарения, — сказал я. — И все едят турку.

— Какого турка? — удивленно посмотрела на меня Рита.

— Турку, — улыбнулся я. — Это индюшка по-английски.

— И мы закажем турку, — сказала Рита. — И я буду благодарить всех за то, что ты у меня есть...

За окном шел первый снег. Белые пушистые хлопья были похожи на мазки кисти, которые беспорядочно разбрасывал пьяный художник.

Вспомнились мне слова Нико: мир дешевле соломы, а деньги не стоят жизни, и все золото мира не стоит одной красавицы... И вспомнилось еще: я простил ей грех белым цветом...

ДОМ С КРЫЛЬЦОМ

На крылечке, возле дома,
Вспоминаю снова
Хасю, Двойру, Двосю, Златку,
Изю, Броню, Гришу, Натку...
И козу Аврома.

Из еврейской народной песни

1

У тети Двоси был дом с крыльцом. Единственный такой дом во всем Краснополье. Крыльцо было длинное, большое, по бокам закрытое досками, украшенными резными завитушками, оно имело крышу и две скамейки вдоль сторон. Панское крыльцо, как говорил Семка Мурзик. Мурзиком его звали за то, что его лицо всегда хранила остатки завтрака. Когда начинался дождь, мы — ребятишки, со всей улицы, неслись к панскому крыльцу и оккупировали скамейки, пережидая дождь. И, как только мы усаживались, на крыльце появлялась тетя Двося. Выходила она со стулом, который ставила прямо у дверей. Садилась на него, оказываясь в центре нашей компании и, как у взрослых, спрашивала у нас, не мешает ли она нам. И, когда мы дружно отвечали, что не мешает, она, поворачивалась к дверям и кричала:

— Дуся, принеси нам кихлах!

И Дуся, ее домработница, выносила огромный тазик, полный теплого, хрустящего сладкого печенья. Теплым оно было всегда, когда бы мы, не появлялись на крыльце. Это меня всегда очень удивляло.

Когда дождь заканчивался, мы убегали с крыльца, возвращаясь к своим мальчишеским делам, а тетя Двося, не забыв прихватить свой стул и пустой тазик, уходила в дом. Надо сказать, что сама без нас, тетя Двося никогда не сиде-

ла на крыльце, какая бы ни была на дворе погода. Она почти никогда не выходила из дома, и даже в базарный день, когда все шли на базар, она посылала на базар Дусю. Как ни удивительно, в местечке, где в каждом доме обязательно обсуждали всех, о Двосе никто ни когда ничего не говорил, несмотря на ее странное поведение. Как будто ее нет в местечке. Расспрашивал я про нее бабушку, но она все время мне говорила, что я мал для таких разговоров. Я не могу сказать любили ли в местечке тетю Двосю. О ней просто ничего не говорили. Но в местечке не было мальчишки, который бы не попробовал ее кихлах. И мне захотелось отблагодарить ее за это.

И однажды, когда на Рош-Ша-Шана бабушка, как обычно поручила мне разнести по домам знакомых кусочки лэкаха, чтобы, как она говорила, был а гутэр унд а зисэр яр, хороший и сладкий год, я попросил бабушку, чтобы она мне дала на дорогу кусочек лэкаха. Бабушка, как обычно, сказала, что лэках на ходу кушать вредно, и если я хочу кушать, то мне надо покушать дома и с молоком. Но я сказал, что не хочу сейчас и с молоком, и вообще мне надо поделиться лэкахом с моим другом Фимкой! Против Фимки бабушка ничего возразить не могла. И я стал обладателем большого куска лэкаха, который бабушка отдельно завернула в бумагу и положила мне в корзину. Конечно, эту сладость я взял не для Фимки! Полученный лэках я решил занести тете Двоси. Мне захотелось, чтобы и у нее был хороший и сладкий год!

Тетя Двося жила недалеко от нас, и была первой на моем пути. Я поднялся на крыльцо, вынул из корзины лэках, и постучал в дверь. Дверь открыла Дуся. Она удивленно посмотрела на меня и позвала хозяйку:

— Дагмар Дитриховна, тут к вам пришли!

Я никогда не слышал, чтобы тетю Двосю так называли. Все звали ее тетя Двося и всё. Появившаяся тетя Двося удивилась мне не менее чем Дуся. Я это по глазам ее увидел. Я бы то же удивился, если бы тетя Двося появилась у нас на пороге. И, чтобы быстрее объяснить ей свое появление, я сказал:

— Поздравляю вас с Рош-Ша-Шоной! С еврейским Новым годом! Пусть у вас будет год счастливый и сладкий! Бабушка испекла и вам прислала!

И подал ей мой кусочек лэкаха.

— Очень вкусный!

— Ой, — всплеснула руками тетя Двося. — Я и забыла, что сегодня еврейский новый год.

— Он каждый год в другой день, — оправдал я ее незнание.— Нам дядя Герцл с Риги прислал еврейский календарь. И поэтому мы знаем!

Тетя Двося взяла в руки лэках, несколько минут смотрела на него, а потом растерянно спросила:

— А ты не ошибся? Это точно мне?

— Да, — как можно увереннее сказал я.

И тут тетя Двося сказала совершенно неожиданные для меня слова:

— А я ведь не еврейка.

— А кто? — я просто рот раскрыл от удивления.

— Ты не знаешь?

— Нет, — честно признался я.

— Я — немка, — сказала она.

Мне от ее слов стало как-то не по себе. Я до этого видел живых немцев только в кино. И знал о них только, что они фашисты. Но сказал совсем не про это:

— А почему вас зовут тетей Двосей? Двося — это еврейское имя!

— Так меня Хаим звал, — тихо сказала она, — и я привыкла. И все привыкли.

Я знал в нашем местечке одного Хаима. Он работал на почте шофером. Но он никак не мог придумать имя тете Двоси. Он был приезжий со Славгорода. А тетю Двосю звали Двосей до его приезда. Мне захотелось спросить, кто этот Хаим, что придумал ей имя. Но я не спросил. А тетя Двося в это время вспомнила, что надо в ответ на принесенный лэках давать свои сладости. Она засуетилась и поспешила на кухню, откуда вышла с большим тортом.

— Чтобы и у вас был год сладкий! Как чувствовала что-то. Утром встала, и захотелось испечь Наполеон. Я уже год, как не

делала его — обрадованно сказала она. — Кихлами с Дусей обходимся. А сегодня захотелось испечь, — повторила она и стала укладывать торт в мою корзинку.

— Весь нам?! — не поверил я своим глазам.

— Весь, — кивнула тетя Двося. — Кушайте на здоровье!

Никто нам никогда не давал в ответ на кусочек лэкаха огромный торт!

2

Солдаты Первой Мировой войны возвращались в местечко поодиночке. Возвращались по-разному. Кто с революционными лозунгами в голове и с шашкой на боку, как Мойша, сын местного богача Якова, кто на костылях и с котомкой за плечами, как Лейба, сын Авнера-молочника. Возвращение для многих растянулось на несколько лет, ибо подхваченные волнами гражданской войны, поделенные на красных и белых, втянулись солдаты в новые битвы, еще более безжалостные и кровавые. Каждого вернувшегося солдата — еврея в местечке, как и положено, обсуждали во всех еврейских домах. Правда, не очень долго, ибо события, поглощавшие все более местечко в бурные события тех лет, не оставляли время на мелкие разговоры. Но возвращение Хаима, сына местного ребе Аврума — Берла обсуждали почти год. И причин тому было немало: во-первых в Краснополье Хаима ждала невеста Хая-Цыпа, дочка уважаемого в местечке реб Иосла, и у них был эйврусин, еврейская помолвка, закрепленная родительским словом, во-вторых, Хаим вернулся из плена из неизвестного никому города Нюрнберга, и в-третьих, вернулся с женой, и жена Хаима не говорила ни по идиш, ни по-русски, хотя Хаим уверял всех, что она еврейка и зовут ее Двося-Берта, и в знак доказательства, что все у него с Двосей по еврейскому закону, показывал ктубу, брачное обязательство, скрепленное, как всем утверждал Хаим, личной подписью Нюрнбергского раввина.

Надо сказать, что у всех евреев в местечке семьи были большие, ибо как сказано в Торе, плодитесь и размножайтесь, но у ребе Аврума и ребеце Двойры был всего один ребенок.

Родился он на третий год после хупы. И то, после того, как ездила ребесн в Вильню и получила броху, благословение, от Виленского гаона. Так же, как мучилась ребесн, ожидая три года ребенка, она мучилась три года, ожидая Хаима с фронта. Ложась спать, и вставая, она первое что делала, молилась за Хаима. И Бог внял ее молитвам. Радости ее не помешала даже то, что Хаим появился не один, а с женой. Конечно, ей было неприятно, что нарушили договор с реб Иослом, и жалко было Хаю-Цыпу, которую она считала почти дочкой, но что все это значило по сравнению с возвращением Хаимки. Правда, прежде чем постелить молодоженам вместе, ребе попросил сына показать ему ктубу. Он надел очки, выкрутил длиннее фитиль в лампе, и принялся за ее изучение. Ребе написал от руки не один десяток таких ктуб, но такой документ, который дал ему Хаим, ребе видел впервые. Он был написан готическим шрифтом на немецком языке, непонятном ребе, — и ребе долго вертел бумагу перед глазами, не зная верить документу или нет, и успокоился только после того, как увидел внизу бумаги несколько слов, написанных по идиш: Гот зол гебн мазл ун брохе! Бог пусть даст счастье и благословение! Он сам всегда так писал в уголке ктубы. Хоть это было и не каноническая запись, но это было благословение от него, и он никогда не забывал записать это внизу документа маленькими буковками. И неизвестный ему ребе сделал то же самое.

«Это хорошо!» — подумал ребе, вспоминая, что в его ктубе ребе Мойша — Шмерл ничего такого не написал. И может потому они с Двойрой долго ждали ребенка.

Уже засыпая, ребе вспомнил о записи в ктубе, и, толкнув в бок ребесн, сказал:

— Я думал, что я один такой хохэм, умный! А оказывается и в Нюрнберге такой же хохэм ин шул зицт, такой же мудрец в синагоге сидит!

— Тише, — остановила его излияния Двойра, — дети уже спят.

Но дети не спали. Как заговорщики, они тихонько перешептывались.

— Хорошо, что я написал внизу броху, — радовался Хаим своей придумке. — Иначе татэ, отец, не поверил бы ктубе, и послал бы письмо Нюрнбергскому ребе! Он у меня такой! Однажды перед погромом написал письмо самому Могилевскому губернатору.

— А я боялась, что он твой почерк узнает, — призналась Двося.

3

— Двося, вося, ося, ся и просто я, — раскладываю я новое имя Дагмар по слогам.

— Mein Name Dagmar. Ich weiss nicht Dvosya, — не соглашалась Дагмар. — So benennen Sie Ihre erste Liebe?[1]

— Нет,— я отрицательно мотаю головой,— так не звали мою первую любовь!

— А как? — спрашивает Дагмар.

— Суламифь, — не раздумывая, говорю я.

— Она красивая? — любопытствует Дагмар.

— Как лента алая губы ее, зубы ее, как стадо выстриженных овец, как половинки гранатового яблока ланиты ее под кудрями ее, — вспоминаю я строчки из Песни песней.

— Ой, — догадывается она, — это из библии. — Мы в приюте ее учили на память!

— Вот в Суламифь из Библии и я был влюблен.

— И больше в ни кого?

— Не успел, — честно признаюсь я. — Меня рано засватали.

— А ты говоришь, что я твоя первая любовь! — на лету схватывая мои слова, смеется Дагмар.

— Но я же тебе сказал, что родители договорились, а не я, — пытаюсь я ей объяснить сложности еврейского шыдэха, сватовства. — Я с ней один раз поговорил и все. Больше до свадьбы нельзя.

— И не спал с ней?— удивляется Дагмар.

---

[1] Мое имя Дагмар. Я не знаю Двосю. Так звали твою первую любовь? *(нем.)*

— О чем ты говоришь?! Я — еврейский ребенок из еврейской семьи. Мо татэ раввин. Это все равно, что у вас пастор. Если бы не война, я бы тоже был раввином.

— А со мной спал, — задумчиво замечает Дагмар.— Значит, теперь пастором не будешь.

— Не буду, — соглашаюсь я. — Но твоим мужем буду!

— А ты представляешь, что будет, когда мы доберемся до твоего Краснополья?

— Представляю. Все будут говорить, что единственный сын ребе сошел с ума. Все Краснополье будет стоять на голове!

— На голове? — дословно понимает меня Дагмар. Она делает большие удивленные глаза и смеется. — Я представляю. Будет, как в цирке.

— Вот именно, как в цирке, — соглашаюсь я.

— А ты не хочешь, чтобы было, как в цирке? — Дагмар вопросительно смотрит на меня.

И я по-еврейски отвечаю ей вопросом на вопрос:

— А ты хочешь?

— Не знаю, — Дагмар пожимает плечами.— Я до приюта жила в цирке. Там было хорошо. Мой папа был воздушным гимнастом. Потом он разбился. И жена его брата фрау Эльза отдала меня в приют. Там было плохо.

Я не задаю больше вопросов. Я молчу.

И тогда задает вопрос она:

— Ты хочешь назвать меня Двосей, чтобы все думали, что я еврейка?

Я киваю. И замираю, в ожидании ответа. Она ощущает мое тревожное молчание и, смеясь, успокаивает:

— Nicht schlecht Namen. Gefällt mir! All. Mehr Dagmar nicht. Ist Dvosya![1]

4

А еще мы говорили про дом с крыльцом. Двося никогда не имела своего дома ни с крыльцом, ни без. Ее домом был бродячий цирк и приют. Дом с крыльцом был у брата ее отца, Отто. Про Отто она всегда говорила хорошо.

---

[1] Совсем неплохое имя. Мне нравится! Все. Больше нет Дагмар. Есть Двося. *(нем.)*

— Он добрый! Когда он приходил к нам в цирк и потом, когда навещал меня в приюте, всегда приносил мне домашнюю колбасу. Он сам ее делает. Она дымом пахнет, просто голова кружится… Я, наверное, этот запах никогда не забуду!

— Но он отдал тебя в приют,— замечаю я.

— Не он, а тетя Эльза, — возразила Двося.— Он мне сказал, что тетя Эльза сказала, чтобы он сделал выбор: я или она?! И что ему было делать?

Двося вопросительно смотрит на меня, и сама себе отвечает:

— Конечно, выбрать Эльзу! Жена главнее всех родственников! — потом заметив мой сомневающийся взгляд, добавила: — И муж главнее всех родственников! Так говорила моя мама. Она убежала из дома ради папы. Семья от нее отказалась. Она была бы баронессой, а стала циркачкой. У нее был дом с крыльцом и у них были свои лошади. Поэтому в цирке она стала вольтижером. Ты знаешь, что это такое?

— Не знаю, — говорю я. — Я вообще ничего не знаю про цирк! К нам в местечко цирк не приезжал.

— Вольтижер — это гимнаст на лошадях, — объяснила мне Двося. — Мама делала упражнения на скачущей лошади. Она погибла, когда я была совсем маленькой. Упала с лошади и та ударила ее копытом. Нечаянно. Так мне папа сказал, — Двося ладошкой вытирает появившеюся слезу и несколько минут молчит. А потом говорит: — Когда папы не стало, мы тогда выступали в Нюрнберге, хозяин цирка гер Шнитке сам меня отвез к папиному брату в Ганновер. Я просилась оставить меня в цирке, но он сказал, что дал слове папе, если что-нибудь с ним случится, отвести меня к дяде. Папа не хотел, чтобы я стала циркачкой.

Вообще, мы никогда с Двосей не говорим о нашем прошлом, и узнаю я о нем из вот таких нечаянных разговоров. Мы больше говорим с ней о будущем, таком же неясном, как и наше прошлое.

5

В плену Хаим работал на стройке, и, вернувшись в Краснополье, на удивление всем, сын ребе устроился плотником в строительную бригаду в только что созданном райпотребсоюзе.

Бригада строила магазины по всему району, и Хаим неделями не был дома, перебираясь из одной деревни в другую. Двося устроилась учительницей немецкого языка в еврейскую школу, в которую революция преобразовала ешиву. Церковь и синагогу закрыли, но первое время не трогали ни батюшку, ни раввина, и те продолжали службу у себя дома. Неделями, оставаясь без Хаима, Двося чувствовала себя неловко в доме его родителей. Относились они, конечно, к ней хорошо, но особой близости не было. Все было, как когда-то в приюте с подружками по комнате: и вместе вроде бы жили, а мыслями были далеко. Двося, как-то назвала реб Аврума татэ, как называл его Хаим, но ребесн ее поправила:

— Называй реб Аврумам рэбэм. Так его все зовут.

После этого Двося не решилась назвать Двойру мамой. И, как все в местечке называла ее ребесн. Один раз она попыталась помочь ребесн на кухне, но та замахала руками, сказав, что сама справляется. Когда она рассказала про это Хаиму, тот успокоил ее, сказав, что еврейская кухня, как Петербургский университет, сделаешь, что-нибудь не так, и будет гвалт до Иерусалима.

— Я сам кончал хедер, и то все секреты кашрута не знаю, — слукавил он, успокаивая жену. — Придет время — научишься этой мудрости.

А время не стояло на месте. Революция все крепче сжимала свои объятья, кроша и исправляя все, что не подходило под ее понимание счастья. Сначала закрыли еврейскую школу, переведя всех учеников в обычную. Учителей, которые знали только идиш, отправили по домам. Двося каким-то чудом устроилась нянечкой в детский сад. Потом запретили священнику и ребе дома устраивать молельни, и, в конце концов, выселили из местечка в один день и батюшку, и ребе. Узнала об этом Двося на работе, когда прибежала в детсад за детьми попадья.

— Ссылаюць нас, — сказала она Двосе. — У Сібір! І вашых бацькоу таксама! Бягі, дзетка, да хаты, можа паспееш развітацца![1]

---

[1] Выселяют нас. В Сибирь. И ваших родителей то же. Беги домой, детка, может, успеешь попрощаться *(беларус.)*.

И Двося побежала домой. Прибежала она к дому почти вместе с подъехавшим грузовиком с милиционерами.

Когда машина подъехала к дому, в кузове сидела уже семья батюшки Кирилла: он с попадьей и семеро ребятишек, один меньше другого. Хаима в тот день не было дома, он, как всегда был в командировке, и пришедшую беду Двося встретила одна. Ребе и ребесн, ничего не соображая, двигались по дому, перебирая вещи и ничего не беря с собой. Милиционер прикрикнул на них, чтобы шевелились, и тогда ребе положил Тору и Сидур в сетку, и ничего не говоря, пошел к машине. Ребесн несколько минут поддержала в руках пустую кошелку, потом положила в нее недельной давности халу, завернула в газету кусок такого же старого, как хала, творога, прикрыла все полотенцем, и держа кошелку в руках, присела на табуретку, как всегда делала перед дорогой. И тогда Двося, схватив большой мешок от картошки начала складывать в него все, что попадалось под руку, очищая кухонный шкаф от продуктов, потом вспомнила, что в печке стоит чугунок с картошкой с мясом и суп с мандэлах, вытащила все из печки, перевязала полотенцами, и то же отправила в мешок.

— Вос ду тутс, — закричала, внезапно очнувшаяся от своих мыслей, Двойра.— Флэйшикэ мит милхикэ! (Что ты делаешь! Мясное и молочное! — идиш) — Потом махнула рукой, встала со стула, и пошла вслед за ребе к машине.

До Двоси дошло, что она сложила мясное и молочное вместе, и она начала выкладывать молочное, но милиционер, увидев ее копание с продуктами, закричал, что ждать не будет: им надо успеть к кричевскому поезду, и Двося, уже не думая ни о чем, вернула молочное в мешок и побежала к машине. Реб Аврум, забравшийся в кузов, замахал руками, отказываясь от мешка:

— Себе оставьте! Вам тоже жить надо! Бог наказывает нас за грехи наши! Он нас накажет, и Он нас спасет! Чтобы простил Он нас, молиться мы должны и поститься, как Давид, согрешивши с Вирсавией! И Бог его простил! Шлойму ему дал!

Но Двося, не обращая внимания на его слова, забросила мешок в кузов. Потом схватилась за край борта, подтянулась и став на узеньком бортовом приступе, дотянулась до Аврума и Двойры, и принялась их целовать, шепча:

— Либэ татэ, либэ мамэ! Что я скажу Хаиму?!

И Ребе, всегда молчаливый и суровый, неожиданно прижал ее к своей огромной бороде, опустил руку на ее голову, и тихо сказал:

— Тохтэркэ! Скажи Хаиму, что я велел, чтобы он берег тебя! И ты его береги! Как сказано в Торе, тому, кому положено жить — пусть живут! Гот зол гебн мазл ун брохе!

Он впервые назвал ее дочкой, но в эти минуты это до Двоси не дошло, и она вспомнила это позже, сидя в пустом доме в ожидании Хаима.

Старший сын батюшки, шестилетний Миколка, увидев, что няня обнимает дядю, бросился к ней с криком:

— Тетя Двося, и я хочу с вами попрощаться!

Она протянула к нему руки, и в это время грузовик резко рванулась с места, отбросив малыша от Двоси, а Двосю швырнув на землю. Милиционерам надоело ждать.

6

Больше в местечке никто никогда не видел ни ребе, ни ребесн. Письма от них то — же не приходили. Хаим попытался найти их, посылая запросы в разные инстанции, пока знакомый милиционер не сказал ему, чтобы он прекратил писать, иначе его самого сошлют туда же.

— Табе пашанцавала яшчэ, — то ли придумал, то ли сказал правду подвыпивший милиционер, отговаривая Хаима писать запросы. — Маглі разам з бацькамі саслаць. У апошнюю хвіліну выкраслілі з спіску. Бо перабор атрымауся. А у нас усё па плану. Дзесяць людзін у загадзе. А у папа семяро дзяцей. Ды дарослых чатыры. Усіх пад завязку. Вось і сказауся ты з жонкаю давескам! Так што, сядзі і маучы![1]

[1] Тебе повезло. Могли вместе с родителями сослать. В последнюю минуту вычеркнули. Так как перебор случился. А у нас все по плану.

Двося согласилась с милиционером, но ей долго пришлось уговаривать Хаима прекратить бесполезную переписку:

— И им не поможешь, и на себя беду накличешь. А, как сказал твой папа, живым надо жить! И надеяться на лучшее!

А лучшее все не приходило. Двося, как когда-то ребесн, не беременела. Местные врачи разводили руками, а просить благословение уже не у кого было, кроме Бога. И Хаим каждое утро, когда бывал дома, набрасывал на себя отцовский талес, надевал тфилин, и молился, прося Бога дать им ребенка, а в командировке молился про себя, без талеса и тфилин, чтобы ни привлекать внимания, надеясь, что Бог простит его за это прегрешение. А годы шли, Хаим старел, не молодела и Двося. И они уже стали подумывать, чтобы взять ребенка из детского дома. Но в последнее предвоенное Рош-Ша-Шана, особенно тщательно перебирая людские судьбы, Бог услышал молитву Хаима: и в Краснополье, приехал погостить к Брумихе брат из Киева. Приехал не один, а с женой, врачихой, по словам тёти Маши, большой специалисткой по женским болезням. И Двося обратилась к ней за помощью. Врачиха сказала, что просто так ничего сказать не может, надо сделать анализы и для этого надо ехать в Киев. Она устроит ее в больницу, в которой работает. И Двося, взяв деньги, что они собирали на ремонт дома, поехала. И через год, в начале июня она родила здорового мальчика. Все в местечке ахали и охали: в тридцать с хвостиком родить первого ребенка все считали чудом!

Пока Двося с ребенком была в больнице, Хаим решил сделать ей необычный подарок: построить крыльцо. И решил он, чтобы оно было со стороны улицы. Чтобы все его видели. И чтобы Двося сидела на нем с малышом и в солнечный день, и в дождливый. Для этого надо было вырубить в наружной стене новый проем под дверь, сделать эту новую дверь и, как очень хотелось Хаиму, украсить крыльцо резьбой. Материала для такой большой работы у него не было, да и денег, чтобы

Десять человек в приказе. А у попа семеро детей. И взрослых четыре. Под завязку. Вот и получился ты с женою довескам. Так что, сиди и молчи! *(беларус.)*

купить доски то же не было, и он попросил председателя райпотребсоюза выписать ему материал в счет будущих зарплат. Он долго рассказывал председателю про дом Двосиного дяди, про то, как она мечтает о доме с крыльцом с детства. А он за делами забылся про это, и вот сейчас вспомнил, и хочет сделать жене такой подарок. Председатель слушал, удивлялся, а потом подписал разрешение на получение досок и бревен в счет зарплаты, и даже выписал денежную помощь Хаиму, в связи с пополнением семьи. Вся бригада помогала Хаиму сделать крыльцо до выписки Двоси из больницы. А бригадир за один день скатался туда и назад в Гайшин и привез своего племянника, мастера по резьбе по дереву. И тот украсил крыльцо волшебными цветами.

Двося не узнала свой дом, и несколько минут удивленно переводила взгляд с крыльца на Хаима и обратно, повторяя, как сумасшедшая:

— Где мы? Это чей дом? Куда ты меня привез? Вези быстрее домой! Надо нашего сыночка покормить! Нашел время, когда шутить?!

И Хаиму, пришлось, раз пять повторить, что это ее дом, пока она поверила в это.

А потом они целый вечер выбирали имя малышу. Двося предложила его назвать в честь отца Хаима. Но Хаим запротестовал:

— По еврейскому обычаю называют в честь умерших. А я не знаю, жив ли мой отец или нет.

И предложил:

— Давай назовем в честь твоего отца.

— Ой, — испуганно сказала Двося.— У него чисто немецкое имя Дитрих!

— И мы назовем нашего сына Димой, Дмитрием!

— Но это не еврейское имя?! — возмутилась Двося, как фрумэшэ идэнэ (как религиозная еврейка-идиш). — Твой папа на такое имя не согласился бы!

— Может с таким именем нашему сыну будет легче в жизни, — успокоил ее Хаим. — Все евреи русские имена сейчас детям дают.

— Ой, какая я сегодня счастливая! — сказала Двося. — Честное слово, я никогда не была такой счастливой! Я на всю жизнь запомню этот день — 21 июня 1941 года!

— И я, — сказал Хаим. — И наш малыш тоже запомнит этот день!

7

Первые немцы появились в Краснополье через пару недель после начала войны. Это была колона мотоциклистов, которая на скорости, не останавливаясь, вытянувшись большой черной змеей, неслось через местечко.

К этому времени половина евреев ушло из местечка. Двося с Хаимом остались. И на это было две причины: только что родившийся ребенок и какая-то внутренняя вера, что немцы не тронут их. Эта вера держалась у Хаима на воспоминании о немецком плене, а у Двоси, принадлежностью к этому народу. Когда она увидела в окно плотных, загорелых парней, с закатанными по локоть рубашками, улыбающихся, как артисты на арене цирка, увидела парней, близких ей по крови, ее потянуло на улицу. Она подхватила на руки ребенка и выбежала на крыльцо, но не остановилась на крыльце, а подбежала к дороге, чтобы рассмотреть их лучше, и показать сыну, что она одна из них. И он один из них. Она не видела немцев целую вечность: почти двадцать лет. Она замахала им рукой. Мотоциклисты замахали ей в ответ. Закричали:

— Guten Tag! Schönes Mädchen! Stalin kaputt! — а один бросил ей губную гармошку, и она славила ее одной рукой, как когда-то ловила на арене цветы, которые бросали восторженные поклонники ее отцу.

— Ausgezeichnet! Du bist der beste russische Frau! Отлично! Ты лучшая русская женщина! — закричали мотоциклисты, перекрикивая друг друга. А последний мотоциклист, завершающий колону, когда оказался на одной линии с ней, бросил ей надкусанный кусок колбасы, которую он ел перед этим:

— Bitte, gnädige Frau! Deutsch Wurst ist die beste![1]

[1] Пожалуйста, мадам! Немецкая колбаса самая лучшая! (*нем.*)

Двося поймала и колбасу, но похлопать ей за этот трюк уже не было кому, кроме Хаима, вышедшего на крыльцо. А он не похлопал.

А дома, отодвинув от себя колбасу, сказал:

— Они не те немцы, которых мы знали. Они фашисты!

— Ты веришь советскому радио? — попыталась переубедить Хаима Двося. — Ты веришь им, сославшим и убившим твоих родителей?

— А ты веришь людям, угостившим тебя, надкусанной колбасой? — ответил Хаим и добавил:— Надо было уехать…

Двося ничего не сказала.

А через несколько дней в местечке появились оккупационные войска: несколько солдат и офицер. И начали устанавливать новый порядок. Была сформирована из местных полиция, назначен староста, а всем евреям приказали переселиться на одну улицу, которую укоротили, с помощью проволочного забора, и запретили под страхом смерти выходить за пределы этого участка. Потом всем евреям, взрослым и детям, велели пришить желтые звезды. Отдельных домов для семей на этом клочке улицы не хватало, и велели селиться в один дом по несколько семей. Двосю с Хаимом и малышом поселили вместе с тремя семьями в полуразрушенный дом сумасшедшего Прокопа, который ни за что не хотел уходить из своей рухляди и перебираться в еврейский дом, и тогда полицейские, смеясь, прицепили и ему желтую звезду. Правда, не гоняли его, как всех евреев, на работу и разрешали, как и раньше, бродить по местечку. Продолжалось так несколько месяцев, а потом в местечко заглянуло какое-то большое немецкое начальство, и велено было приступить к окончательному решению еврейского вопроса, как сказал Прокоп, услышавший где-то эти слова. Сказав их, он снял с себя желтую звезду, положил ее в карман, и пояснил все простым языком:

— Забіваць вас будуць! Заутра пашлюць рыць роу, а у канцы тыдня, на ваш шабас застрэлюць! Не злуйцеся. Бывайце! Я пайшоу у Выдранку, да стрыечнага брата. А тое гэтыя злыдні і мяне падцэляць! (Убивать вас будут. Завтра пошлют рыть ров, а в конце недели на шабэс забьют! Не обижайтесь. Прощайте. А я пошел в Выдренку, к двоюродному брату. А то эти злыдни и меня убьют! — *беларус*.) И в ту же ночь ушел.

А на следующий день всех мужчин повели рыть ров.

Вечером, прижавшись в темноте к Двосе, Хаим зашептал:

— Ты должна им сказать, что ты немка. Ты должна спасти нашего Дитриха! Скажешь, что он не от меня! Спасибо Советской власти, что не разрешила обрезать! Они тебе должны поверить.

— Я буду с тобой, — замотала головой Двося. — Я — еврейка! Ты понял: я — еврейка! Мы умрем вместе! И не говори мне больше ничего!

— Ты должна жить, — возразил Хаим. — Нам непроста сына дал Бог, я молил его у Бога, и Бог его спасет! — шептал Хаим.

— Нет, — стояла на своем Двося.— Ты не пойдешь один ко рву! Я пойду с тобой! Я — не немка! Понял!

— Не понял, — сказал Хаим, и, встав с лежака, склонился над мешком с вещами, который они взяли с собой из старого дома с крыльцом. И оттуда, где-то из самого дна, неожиданно вытащил ее старый немецкий паспорт.— Я не напрасно его прятал столько лет!

В нем жизнь нашего сына и твоя!

— Я не буду его брать, — громко, забывшись, где находится, крикнула Двося, испугав уже задремавших соседей. И увидев это, замерла, испуганно глядя на Хаима.

— Это она со сна, — объяснил крик жены Хаим и тихо закончил свои уговоры, вталкивая ей паспорт в руки: — Меня уже нет. Ты пойми! Меня нет! Ты осталась одна с нашим сыном. И ты должна его спасти. Ты не Двося, ты — Дагмар!

Больше Хаим не сказал ни слова. Лег, повернулся к стенке и замолчал. Как ни тормошила она его, он не откликнулся. Утром поцеловал, как всегда ее и сына, и вместе со всеми ушел на работу. И не вернулся. Как сказали вернувшиеся мужчины, он бросился с лопатой на полицейского и тот его застрелил.

И Двося поняла, что осталась одна с нашим сыном, как сказал Хаим. Она два часа сидела, обхватив голову руками, и молчала. Очнулась, когда заплакал малыш. Она покормила его. Потом сорвала желтую звезду с себя и с завернутого в одеяльца сына, взяла его на руки и вышла из дома.

— Уже комендантский час, — крикнула ей вслед Хана.

Но Двося не обратила на ее слова никакого внимания. Она пошла к проволочному забору, ограждающему гетто.

Она протянула ошарашенному полицейскому немецкий паспорт и на чистом баварском диалекте сказала:

— Ich — Deutch! Bringen Sie mich zum Offizier! Я — немка! Отведите меня к офицеру!

…Офицер оказался из Нюрнберга. Он был любителем цирка.

И помнил знаменитого гимнаста Дитриха. Он даже был на том представлении, на котором Дитрих сорвался с трапеции. Он с умилением посмотрел на малыша, и сказал, что он вылитый дедушка:

— У него настоящие голубые арийские глаза, — сказал он.

И даже не спросил про его отца.

8

Когда немцы и полицейские бежали из местечка, Двося осталась. Ее сразу арестовали, как немецкую пособницу, присудили пять лет лагерей, а Диму передали в детский дом, постановив сменить имя и фамилию. По Краснополью ходили о ней разные истории одна страшнее другой: в одной она сама застрелила Хаима, в другой расстреливала всех евреев, и еще до войны работала на немецкую разведку и в детском саду травила детей, но ни одну эту историю никто не мог подтвердить. А вернувшийся после войны в местечко Прокоп всем говорил, что всю оккупацию Двося прожила в своем доме, никуда не выходя, и не работала она у немцев, и он, приходя в местечко, боялся заходить в свою развалюху, так как там убитыми евреями пахло. И он всегда ночевал у Двоси, и поэтому знает всю правду. Но никто ему не верил, считая, как и до войны, сумасшедшим.

Отсидела Двося в лагере от звонка до звонка, и, на удивление всем, вернулась в Краснополье, в свой дом с крыльцом. В нем почему-то никто не поселился все пять лет, пока Двося не было, хотя все остальные дома бежавших полицаев обрели

новых хозяев. Однажды, правда, хотели его отдать под детский сад, но заведующая решительно отказалась. И начальство не настаивало. Вернулась Двося не одна, а с Дусяй, сибирской девчонкой, которая сидела вместе с ней в лагере, за то, что заснула во время работы за станком на каком-то военном заводе. Из лагеря Двося вернулась совсем развалюхой: и сердце болело, и ноги не ходили, и цинга съела все зубы, и если бы не Дуся, она, наверное, долго бы не протянула. После того, как она вернулась из лагеря, никто в местечке о ней ничего не говорил, никто к ней никогда не заходил, и только Прокоп, проходя мимо ее дома, всегда заглядывал к ней, и, как дети, получал большую корзину печенья. Он всегда спрашивал ее, почему она вернулась в местечко. И она всегда отвечала, что здесь похоронен Хаим. И Димочка может когда-нибудь сюда вернется.

— Да он же малый был, когда его в детский дом отдали. Ничего не помнит, — доводил Прокоп.

Двося не соглашалась, и говорила, что помнит маму, хотя потеряла ее, когда ей было всего полгода.

— Что с нее возьмешь — а мишугинэ, сумасшедшая, — сам себе говорил Прокоп и тяжело вздыхал.

ЯБЛОКИ

Рассказ

Такого большого сада, как у Нёмы в Краснополье ни у кого не было. Ибо он весь огород превратил в сад. Сад состоял из яблочных деревьев: житники, белый налив, антоновки, пилиповки, семеренки, штрейфлинги…. И летние сорта, и зимние. Дом его, маленький и наклонившийся на бок, выходил к улице, а весь огород располагался вдоль переулка. Переулки в Краснополье были маленькими, узкими, чаще всего это было просто дорога для проезда между двумя огородами. Иногда в переулке стояли два-три дома, но тогда огородами они выходили на улицу, ибо главное в местечке было не красота дома, а наличие большого огорода. На две трети огороды были отданы картошке, и только поближе к дому были гряды с овощами. У некоторых ближе к дому росли одно-два плодовых дерева. Кусты картошки были высокие, кустистые и служили нам, местным ребятишкам, местом для игры в прятки или жмурки, как мы называли эту игру. В один из переулков выходил и Нёмин сад. Но там прятаться никто не решался. Ибо все знали, что Нёма ни днем, ни ночью не спит, а сторожит свой сад. И поэтому лучше его сад обходить стороной.

Жил Нёма один, бобылем. Сколько лет ему никто в местечке не знал. И даже паспортистка говорила, что выдавая ему паспорт, год рождения записала со слов, ибо никаких документов у него не было. Был он немножко не в себя, с причудами, как говорила бабушка, но сумасшедшим его никто в Краснополье не считал. В его хозяйстве, кроме сада, была коза, которая бродила по саду вместо собаки. Козу звали Маня. И добрее Мани не существовало козы. Когда она выходила в сад, то всегда подходила к частоколу, окружавшему сад, и замирала, с любопытством поглядывая на иду-

щих по переулку людей. Кстати, и Нёма, несмотря на то, что никого не пускал в свой сад, был добрым. Как только поспевал очередной сорт яблок, он выкатывал со двора бочонок, ставил его возле скамейки и наполнял его доверху яблоками. Сам садился на скамейку и угощал яблоками всех проходивших мимо. Так продолжалось два дня. Потом он принимался за свою главную работу, как говорили все в местечке: он делал из фанеры ящики, складывал в них яблоки, перекладывая их соломой, делал в ящиках по бокам дырки для проветривания, и нес их на почту. Все посылки с яблоками он отправлял по одному адресу в село Советское, в Саратовскую область.

— И сколько можно одному и тому же человеку посылать яблок? — удивлялась его посылкам, почтовая приемщица тетя Катя. — Лучше бы здесь продавал, и копейку, какую заработал. А то шлешь, шлешь, конца края нет!

— Я яблоки не продаю, — обиженно говорил Нёма, — если бы не надо было отсылать, я бы здесь все роздал бесплатно.

— И кому ты все их шлешь? — допытывалась тетя Катя.

— Ты же видишь на посылке адрес и фамилию, — удивлялся ее вопросу Нёма.

— Вижу, — соглашалась тетя Катя, — грамотная! Но мне интересно, что это за человек, которому ты все яблоки со своего сада пересылаешь. Что он с ними делает?

— Ест, — не вдаваясь в подробности, всегда отвечал Нёма, и чтобы не задавали ему больше вопросов на эту тему, добавлял: — Он большой любитель яблок!

И больше от Нёмы ей ничего не удавалось узнать. Отправлял посылки Нёма, пока на деревьях не оставалось ни одного яблока. И так продолжалась из года в год. Все в местечке знали эту придурь Нёмы, привыкли к ней. Первое время все пытались узнать об адресате его посылок хоть что-то. Но потом прекратили это дело, ибо поняли, что от Нёмы толку не добиться.

И вдруг посылки стали возвращаться назад с припиской почты о ненахождении адресата. Нёма, молча, забирал по-

сылки, и сосредоточенно думая о чем-то своем, перечитывал бумажку почты. Когда вернулась четвертая посылка, он спросил у тети Кати, почему возвращаются посылки.

— По указанному адресу не проживает получатель, — объяснила она.

— А где он? — спросил Нёма.

— Может, переехал куда, а может… — не докончив своего ответа, вздохнула печально тетя Катя.

— А ты можешь написать туда и спросить? — попросил Нёма, и добавил: — Мне очень надо знать.

Тетя Катя подумала и сказала:

— Могу. Только мне надо знать, кто он.

— Я там был в эвакуации, с мамой. Мне было семь лет, — вздохнул Нёма, и огромные слезы выкатились из его глаз и медленно поползли по щекам. Он вытер их шапкой, грустно посмотрел на тетю Катю, и продолжил свой рассказ: — Кроме эвакуированных, там было немножко местных евреев: в основном, женщины и дети. Во всех мужья были в армии. И трое мужчин было: пару стариков, старых-старых, и средних лет мужчина, как я сейчас. Директор Зуся! Все его так звали. Он был инвалид, хромал, и его, поэтому не взяли в армию. Он заведовал валяльней — валенки там делали. И у него была жена. Ее Директоршей звали. Она нигде не работала. А все остальные женщины работали у Директора: и местные, и эвакуированные. И мама работала там. А после работы она еще убирала у Директора дома. За это ей давали маленькую баночку молока и кусочек сахара. Мама к молоку и сахару не притрагивалась. Это было только мне. Ибо я был рахитичным. Так все говорили. Дом Директора был на другом от нас краю села. Большой дом с большим садом. И сторожили этот сад две огромные собаки. Мама каждый день после работы шла к нему работать, возвращалась очень поздно. Так было долго — долго. А потом мама заболела тифом. Она все время бредила и почему-то все время просила яблок! Может, ей наш сад виделся. И я пошел за яблоком к Директору. Это было зимой. А гарбэр винтэр![1] В тот день

[1] Суровая зима *(идиш)*.

была большая метель. Все засыпало снегом. Я еле дошел до Директорского дома. Директор сам открыл мне дверь, и, не пуская через калитку, спросил, что мне надо. Я сказал, что мне надо одно яблоко. Он развел руками и сказал, что сейчас зима. И я разве не понимаю, что яблок сейчас на деревьях нет. А я знал, что мама упаковывала ему яблоки в ящики, и эти ящики стоят у него в погребе. И я сказал ему про яблоки в погребе. И тогда он сказал, что сейчас погреб засыпан снегом. А он отгребать снег не будет. Я долго просил и плакал, а потом сказал, что у нас в Краснополье сад, и я ему обязательно, когда закончится война, верну яблоки. Он тогда засмеялся и впустил меня во двор, привязал собак к будке и дал мне лопату. И сказал, что если я так люблю маму, то могу сам откопать дверь в погреб. Я копал почти целый день. Собаки сначала лаяли на меня, а потом привыкли, замолчали. Снег замерз, не подавался мне, но я не сдавался. Лопата была взрослая, тяжелая. Я еле удерживал ее в руках. Только где-то к вечеру я докопался до двери. И он дал мне ключ от огромного замка, который замыкал дверь погреба. Замок был замерзший, я дышал на него долго-долго, пока мне удалось провернуть ключ. В погребе стояло несколько ящиков с яблоками. Я взял одно яблоко, не выбирая, из верхнего ящика. Когда я поднялся с погреба, директор ждал меня у дверей. «Одно взял?» «Одно»,— сказал я. «Не забудь про обещание», — напомнил он. «Не забуду», — сказал я. И побежал домой. Но мама меня не дождалась. Она ушла к Богу. А я шлю яблоки Директору, чтобы знал, что я не обманщик! Мама так и ушла, не покушав яблоко!» — закончил рассказ Нёма и снова шапкой утер слезу.

— У Бога много яблок, — успокоила Нёму тетя Катя, — райские яблочки!

— Я тоже так думаю, — согласно кивнул Нёма, и, забрав назад последнюю возвращенную посылку, пошел домой.

Дома, он все оставшиеся яблоки сложил в бочонок и выкатил его на улицу. Весь день он сидел на скамейке и всех проходящих угощал яблоками. И с этого дня Нёма перестал охранять свой сад. И даже привязал к забору козу Маню, чтобы она ненароком не испугала ребятишек.

А тетя Катя написала письмо в село Советское. И тамошний заведующий почтой ответил ей, что Директор местного Дома Быта ушел в мир иной, а его дочка, которая жила в Саратове, продала дом. И там уже живет иной человек. Полюбопытствовала тетя Катя и про судьбу яблок, которые отсылал Нёма. И заведующий ей написал, что Нёмины яблоки Директор, не распаковывая, завозил в местный Детский Дом.

СВЕРЧОК ЗА ПЕЧКОЙ

Маленькая сентиментальная повесть

1

Это, правда, давнее,
Но и о давнем
Не умолчишь…
Иосиф Уткин

Я вам скажу, мистер Баскин, вся жизнь — это большая дорога. И не имеет никакого значения, носишься ли ты по миру, или сидишь в своем Краснополье, и читаешь всю жизнь а бихул, книжку. Как говорил ваш дедушка, умный человек в Краснополье, ин вос фар а вэг дэр мэнч вил гэйн, фирт им Гот![1] И имею я ввиду, конечно, не просто дорогу, а жизнь. Вот я из нашего местечка никогда никуда по своей воле не уезжал. А пришлось. До Америки доехал! Как говорил Шолом-Алейхем, у кого скрипач на крыше играет, а у кого сверчок за печкой! Шпилн дэ грилн, играют сверчки! Так вот этот грил всегда со мной, куда бы я ни подался в жизни. Вот сейчас разговариваю с вами, и слышу, как он сверчит. Такая моя дорога. И еще хочу добавить, что это не просто сверчок, а еврейский сверчок. У него свои еврейские заходы. Реб Гриля, как я его зову.

А началась дорога, как у всех, с рождения. И с имени. Долго мне выбирали имя. Папа был из простых, из бологолов, и имя мне хотел простое: Марк, Мордухай. В его роду это имя передавалось со времен Есфирь, как говорил папа. Вот, как вас назвали. А мама была из ихэс, знатного рода, в их семье

[1] Куда бы ни собирался идти человек, Бог его ведет! *(идиш).*

были провизоры, адвокаты и вообще неизвестно как они попали в Краснополье. И она решила назвать меня Эммануилом. И кем вы думаете, меня назвали? Конечно, Эммочкой! Вот как назвали, Гриля и зацокал.

Сверчок на печке спал, а я возле печки. Папа сделал козлы из березы, положил на них доски, матрас мама пошила из старой занавески, и в него сено положили. А подушку бабушка принесла. Она три года гусиный пух для нее собирала: гусей у нас только на пасху покупали.

— Приданное, для Эммочки, будет, — говорит. Как будто я не будущий жених, а будущая невеста.

Натерпелся я с этим именем в детстве изрядно. На нашей улице были три девочки Эммочки! И я четвертой стал. Да, что говорить, когда даже моэл, человек, который делает обрезания, шутил, что Эммочка очень красивая девочка! Вы спросите, откуда я это знаю, и я не буду вам майсу придумывать, что папа рассказал! Знаю и все. Гриля сказал.

Правда, в армии меня Эммочкой не звали. А звали Философом. Командир нашего стройбата, молодой лейтенант, почти наш ровесник, сказал, что философ такой был Иммануил Кант! Немецкий. Но этим меня не попрекали. А Философ хорошее имя. От этого имени меня на философию потянула. Я даже в библиотеке книжку Канта нашел. Библиотекарша на меня глаза вытаращила. «Критика практического разума»! Читали такое? Я ее от корки до корки осилил. Все помню. А столько лет прошло…. Поступай так, как бы ты мог пожелать, чтобы поступали все! Хорошо, если бы все так поступали. Но…. Размечтался я тогда поступить после армии в университет, и стать настоящим философом. Философствую и служу. Тут приходит от мамы письмо: меня женили! Не в прямом смысле, а в еврейском. Устроили шидех. Без меня решили на ком мне жениться. А шидех из ви, а лэйтэр, аз мэ штэлт им крум, крыхт мэн аруф, как говорит Гриля. Женитьба, как лестница, если криво поставишь, так легко слетишь. Приехала к дяде Берлу, нашему соседу двоюродная сестра Бэла с Молодечно. Вы слышали о таком городе? Ах, вы там работали. Тогда мне легче вам объяснить. Тетя Бэла работала там, в музыкальном училище

и имела дочку на выданье. И искала ей жениха по всему свету, в смысле объезжая всех родственником. И я подошел. Ей очень понравилась, что моя мама работает в аптеке, а мамин брат в Киеве адвокат. А маме понравилось, что у нее мама музыкантша, и она сама музыкантша, а папа какой-то главный в городском отделе культуры. Мама показала мою фотографию с автоматом и в пилотке у знамени полка, а моя будущая теща семейный снимок, на котором Розочка исполняла арию Кармен из оперы Бизе. В пять лет. В общем, вундеркинд! И пошла история. Мама мне пишет, я ей пишу.

Осталось несколько месяцев до дембеля. Все ждут, когда я приеду. И приехал. Взрыв на Чернобыле. И наш стройбат туда. Ликвидировать аварию. Отправили нас туда в первый день, когда еще радио молчала. В верхах совещались, а мы работали.

Через два месяца все получили свою дозу. И оказались в госпитале под Москвой. Я с командиром в одной палате. Он уходил в иной мир, и ему хотелось поговорить. Мне сказали, что у меня не будет детей, и мне тоже хотелось поговорить. И мы говорили. Однажды среди ночи, он сказал:

— Слушай, философ, женись на моей бабе! И вырасти мою дочку. Боюсь, возьмет она какого-нибудь дурака и не будет Танюше житья. А вы евреи — добрые люди. И Насте будет хорошо и Танюшке.

— О чем ты говоришь? — от неожиданности предложения, я буквально задохнулся.

— Что думаю, то и говорю, — сказал командир. — Не думай, что я тебе старуху подкидываю. Она твоя одногодка. Красивая. Врач.

— Не трепись, командир, — сказал я, закусив губу, — проживешь еще много лет, и на свадьбе своей Танюшки погуляешь! И внуков побалуешь!

— Философ, не философствуй! На жизнь надо смотреть трезво, как говорил твой Кант Иммануил! — оборвал меня командир. — У тебя детей все равно не будет. И моя Таня будет тебе дочкой! Я ее еще не видел. Но Настя пишет, что она, белокурая, как она! Скажешь, что в жену пошла! Такое, не редкость!

— О чем ты говоришь,— возмущался я.— Вбил себе в голову, неизвестно что, и мне голову морочишь! Жить ты будешь! Долго и счастливо! Я слушать не хочу твои разговоры! Поворачиваюсь на бок и сплю! — И я демонстративно отвернулся к стенке.

— Мало мне осталось, и поэтому я тебе спать не дам, — сказал командир.— Послушай меня! Хорошо, пусть ты прав и я буду жить долго и весело! Но если будет по-другому, дай мне слово, что не оставишь моих! Мы с Настей из одного детдома. У нас воспитательницей была Клара Моисеевна, еврейка. Мы ее как маму вспоминаем. Так что Настя против еврея не будет. Насчет этого не думай! И дочка еще меня не видела. Она будет думать, что ты ее папа!

И тут меня взорвало. Я решил защищаться нападением.

— Она что у тебя крепостная, в рабстве, что ты распоряжаешься ее судьбой?! И если тебе очень хочется, то я обещаю, что буду помогать им! А уж как она дальше жить будет, ее дело, а не твое, товарищ лейтенант! Дошло?

— Не дошло, — сказал он.— Не в деньгах дело! Ей нужен муж, а Танюшке папа! И то, что я тебе сказал, я ей написал, тебя не спрашивая! И написал ей адрес твоих родителей! Я когда-то благодарность им писал от лица командования. Он у тебя простой. Как у Чехова. На деревню, дедушке. И я его запомнил. Так что, она тебя найдет!

Хотел я его послать подальше, но тут под ухом реб Гриля зацокал, не знаю, откуда он вылез:

— Швайг, швайг, швайг! Молчи, молчи, молчи! — и я промолчал.

Пусть лейтенант думает, что все так и будет. Может ему от этого легче станет.

После этой ночи, мы больше об этом с командиром не говорили. Через неделю меня выписали и начистую демобилизовали. А лейтенант остался в госпитале. Я попрощался с ним, сказал, что мы обязательно встретимся, он махнул безнадежно рукой, и, когда я уже оказался почти у дверей, остановил меня:

— А ты не забудь про мою просьбу, философ!

Я едва, машинально, не спросил:

— Про какую просьбу?

Но не спросил. Ибо сверчок опять зацокал над ухом. И я кивнул.

Доктор, выписывая мне документы, посмотрев на мой удрученный вид, похлопал меня по плечу и, заговорщицки, подмигнул:

— Считай, что тебе повезло, по сравнению с другими! Из вашего батальона единицы выпишутся отсюда. Так что живи за себя и за того парня, как в песне поется. Не переживай, солдат! Можешь теперь гулять с бабами спокойно — детей не будет! И побольше пей вино — вымывает радиацию! И голове веселей! — и добавил: — Жизнь, что-то забирает, а что-то дает!

Я сделал кислую улыбку, и ушел.

Поезд на Минск уходил вечером, и я целый день проторчал в очередях в московских магазинах, стараясь что-нибудь купить из еды для дома. Ибо, как написала мне мама, чернобыльская беда не обошла стороной и наше Краснополье. То ли по чьему-то приказу, то ли по воле природы облако из Чернобыля докатилась до нашего местечка, и вылилась радиоактивным дождем. Кто прав, кто виноват — об этом один сверчок знает. Но он мне не говорит, чтобы я, не терял веру в родную власть, как он выражается, и лично в товарища Горбачева. Ибо товарищ Горбачев еще для евреев доброе дело сделает. Я не уточнял, какое дело. Денег у меня особенно не было, но что-то купил: на Горького нарвался на тушенку, а за несколькими кольцами колбасы пришлось забраться почти в конец города, на Пресню. И купил, как советовал доктор, бутылку дешевого вина. Перед самым поездом, заскочил на центральный почтамт и позвонил домой. И мама сказала, что раз я буду в Минске, то это два шага от Молодечно. И попросила заехать к Розочке. И добавила, что хорошо, что нашлась невеста подальше от Краснополья. Ты устроишься там, и мы переберемся туда из радиации. Сказала, что они с ней созвонятся. И дала мне ее адрес.

Поезд был ночной. Отправлялся поздно. И соседи по вагону, двое старичков командировочных, немного поговорив о своих делах, легли спать. Я предложил им выпить, но они, посмотрев на мое дешевое вино, скривились и отказались. И тогда я выпил всю бутылку сам. Потом взял простыни, подушку, забрался на верхнюю полку, лег, думал, что усну, но не смог. Так до самого Минска лежал. О чем я только за ночь не передумал? И о лейтенанте, и о его дочке, и о маме, которая ничего не знает о моих бедах и ждет внуков, и о Розе, которая пока еще думает, что махт а мецоцэ[1]. Множество вопросов крутились в голове и ни на один из них я не находил ответа. А реб Гиля в спячку ушел. Как будто не я выпил вино, а он.

2

Но по-разному счастье курится
По-разному
У разных мест:
Мотэлэ мечтает о курице,
А инспектор курицу ест.

Иосиф Уткин

В Минске я сдал свой чемодан в камеру хранения, купил на вечер билет на Краснополье, и налегке поехал в Молодечно. Мама сказала, чтобы я купил торт, но на торт у меня денег уже не было.

Жила Роза не далеко от вокзала, в самом центре, в многоэтажном доме напротив кинотеатра. На первом этаже дома был большой магазин. Я наскреб последние деньги и купил коробку конфет. Был будничный день, но предупрежденные маминым звонком, вся семья Розы была в сборе. Со Сморгони приехала Розина старшая сестра Голда с двумя пятилетними мальчишками — близнецами, которая виновато сообщила, что муж то же собирался приехать, но не отпустили на работе, какая-то проверка в школу приехала. Мальчики, обрадо-

[1] Делает удачное дело *(идиш).*

ванные моей солдатской формой, буквально повисли на мне. И Голда одобрительно заметила, что меня любят дети, и я буду хорошим папой.

Как и положено, в еврейской семье накрыли праздничный стол. Пошли застольные разговоры. Стали все расспрашивать меня о будущем: где я намерен жить, у вас же в Краснополье радиация, собираюсь ли я пойти учиться, и куда, ибо без образования сейчас трудно. Я отвечал какими-то обтекаемыми фразами, мол, жизнь покажет, конечно, надо выбираться из Краснополья, а к чему руки приложить не знаю, может на строителя выучиться, стройбат все-таки прошел. Обо всем говорили, только не о прошлом. Мама строго — на строго, предупредила меня, чтобы я не заикался, о том, что был в Чернобыле:

— Зуналэ, сейчас про радиацию мегилу говорят. Они испугаются и шидех не состоится. Помолчи! Хватит того, что они знают, что в Краснополье радиация!

И я молчал. Но мне очень хотелось поговорить об этом. Ибо это мучило меня и не давало покоя. И напоминали об этом племянники Розы, которые разместились на моих коленях и ни за что не хотели слезать. Да и мне не хотелось их отпускать.

Есть люди, которым легко говорить неправду, ибо они говорят ее постоянно. Если люди, которым легко промолчать, ибо они ни перед кем никогда не раскрывают свою душу. А есть люди, как я, которыми не могут соврать и не могут ничего утаить, ибо потом их замучит совесть. И не спрячешься от нее даже за китайской стеной. Честно скажу вам, это плохое качество. Но так меня воспитали. Плохо воспитали, как я не раз убеждался в жизни. Но перевоспитать я себя не могу.

Когда я часа через четыре распрощался со всеми и собрался на вокзал, Роза вышла со мной. И первыми словами, которые я ей сказал, как только мы оказались на улице, были слова о Чернобыле:

— Я был там. Не хотел говорить при твоих, а сейчас скажу.

— Хвастаешься?— она не поверила мне.

Тогда, еще все думали, что этим можно хвастаться.

— Ох, — я вздохнул, — если бы это было хвастовство! Это правда, — и тут же, чтобы не задохнутся, подступившим к горлу комком, быстро добавил: — Я получил там свою дозу!

— Что? — не поняла она.

— Получил облучение, — сказал я, и добавил: — У меня не будет детей. Я об этом не говорил даже родителям. Тебе говорю первой.

Она несколько минут смотрела на меня широко раскрытыми глазами. И я, не дожидаясь ее слов, чтобы оборвать этот разговор, подвел черту, как говорил командир, объясняя задание:

— Ты — красивая! Ты найдешь хорошего парня! И у тебя будут двойняшки, как у твоей сестры! Не обижайся на меня! Конечно, мне не надо было заезжать к вам. Но не знаю почему, я заехал. Не могу объяснить. Но я сказал тебе правду! И провожать меня не надо! Я дорогу до вокзала знаю.

Я думал, что она без слов повернется и уйдет. Но она спросила:

— А я тебе нравлюсь?

— Нравишься, — честно сказал я.

И опять услышал неожиданный вопрос:

— Я видела, как ты быстро подружился с моими племянниками. Они чувствуют человека, который любит детей. Ты хочешь иметь детей?

— Для чего этот вопрос? — недоуменно спросил я.

— Чтобы помочь тебе.

— Ты — волшебница?!

— Немножко, — заметила она, — но здесь дело не в волшебстве. Я просто беременная. Об этом не знают мои родители, — она на минуту замолчала, пристально глядя на меня, а потом добавила, — как и твои о твоих проблемах. Так что, если желаешь, мы можем решить наши проблемы вместе.

— Но ты же любишь отца своего ребенка,— сказал я первые пришедшие на ум слова.

— Врать не буду. Мы должны быть честными. Признаюсь даже, что хотела тебя в начале обмануть. Да, я его люблю! Но у него хорошая жена. Двое детей: мальчик и девочка. И он их любит и никогда не уйдет из семьи.

— Но без любви нельзя жить вместе! — вырвалось у меня.

— В наших обстоятельствах можно. Моя мама не любит папу и, слава Богу, живут уже тридцать лет с хвостиком! Так что, подумай!

Она посмотрела в мои растерянные глаза и добавила:

— Только недолго, ибо скоро может быть видно мое положение. А у папы было уже два инфаркта. Третий он не перенесет.

Захотелось спросить, а помнила ли она про это, до того, как влюбилась. Но тут же вспомнился Кант: иной вопрос уже в самой постановке вопроса не имеет смысла. И я не спросил.

На вокзале она поцеловала меня.

И прошептала на ушко:

— Кстати, моему папе все говорят, что дочки на него не похожи. А он говорит, что мы похожи на его дедушку, которого никто никогда не видал. Заметил, мы с Голдой рыжие, а папа черный, как смоль. Внучки рыжего Мотыле! Читал про него?

— Не читал, — честно признался я.

— А там есть строчки про меня, — впервые за нашу встречу рассмеялась она, — она хорошо варила цимес и хорошо рожала ребят! Ты любишь цимес?

— Не очень, — сказал я.— Я люблю мочанку.

— Его жена тоже не любит цимес. А он любит. Может поэтому и изменил ей, — по сей день я не знаю, почему это она вдруг сказала тогда, сказала совершенно неожиданно для меня, и, мотнув головой, расплескала, как волны, по ветру свои рыжие волосы.

В автобусе, я, не спавший вторые сутки, моментально заснул. Даже проспал остановку в Могилеве, где автобус стоял целых полчаса, и только после Черикова, когда выехали на Краснопольскую дорогу, проснулся. И то не своей воле, а потому что над ухом зацокал реб Гиля.

— Вос зэ а майсэ фун а цыгэлэ а вайсэ? Что за история про белого бычка? — пошутил он.

— Не издевайся, — сказал я. — Не хватает мне, чтобы и ты еще издевался.

— Я не издеваюсь, — сказал сверчок, — просто хочу тебе заметить, что такая мадам, как Роза, тебе подходит! С ней ты не пропадешь!

— Она же меня не любит, и даже не скрывает это, — заметил я.

— Ит из унтэр а гройсн фрэгцэйхн. Это под большим вопросом, — заметил реб Гиля.— Может еще и полюбит. Конечно, сейчас ее подталкивают обстоятельства. Но и тебе кое-что мешает зайн а порэц ба зых![1] И хочу тебе сказать, ты тоже для нее не большая радость, чтобы тебя любить! Поверь мне, я знаю твои способности. При твоей сверхчестности, ты каждой сразу скажешь про свои беды. И, попробуй, найди такую, чтобы согласилась! Конечно, если бы ты был Ротшильд, то мог бы крутить носом. Но, когда у тебя пустые карманы, то я бы не советовал!

— Но она даже не сказала, что больше не будет с ним встречаться, — схватился я за последнюю соломинку, чтобы возразить реб Гилю.

— Я не думаю, что ты а нар фун коп биз фис (дурак с головы до ног), чтобы жить с ней в Молодечно?! — подпрыгнул на моем плече сверчок.

— И где мне жить? — спросил я.

— В Америке! — сказал сверчок.

— Опять издеваешься, — сказал я.

Но реб Гиля ничего мне не ответил. Просто покрутил лапкой у виска, мол, о чем говорить с дураком, и спрыгнул с плеча.

Когда я вошел в дом, мама чуть ли ни с порога, сказала, что им звонила вечером Розина мама и сказала, что я им понравился. И что они сказали, что не надо тянуть со свадьбой. И, главное, они все расходы на свадьбу берут на себя.

---

[1] Строить из себя аристократа! *(идиш).*

— Это главное? — переспросил я.

— Не последнее, — сказала мама, — мы не богачи.

Я мучился, не зная, какое принять решение. А сверчок куда-то запропастился, и посоветоваться мне не было с кем. Сходил в библиотеку, хотел перечитать Канта, но в библиотеке о нем даже не слышали. И полезли из памяти перемешанные обрывки мыслей. Все надо совершать, исходя из максимы своей воли. А какая она моя воля? От сексуальности мутится разум. Мутится и что? Но у человека на это накладывается нравственная форма. Накладывается. Но кто более нравственен я или она? Человек не может считать себя абсолютно правым.

Мама каждый день напоминала мне, что надо позвонить Розочке. Я сам понимал, что надо дать ответ. Но надеялся на какое-то чудо, и ответ придет сам собой. И не звонил. И тогда она позвонила сама. Мама подняла трубку и хотела сразу передать мне, но Роза сначала довольно долго говорила с ней и только потом попросила позвать меня. Я взял трубку и услышал всего два слова:

— Да или нет?

— Да, — ответил я и, как-то машинально положил руку на рычажок телефона, отключив разговор.

— Что так быстро? — удивилась мама.

— Случайно отключил, — признался я.

— Шлеймазул, — сказала мама и успокаивающе добавила, — подожди, сейчас она перезвонит.

Но она не перезвонила в тот день. И я подумал, что это судьба. И моя история со свадьбой закончилась. Мне как-то на душе стало легче. И, главное, не я принял решение, а судьба. В эту ночь я спал спокойно, но утром, проснувшись, услышал цоканье сверчка. Хотел с ним поговорить, но он уклонился от разговора, хотя цоканье не прекратил. И выцокивал он фрейлахс, еврейский свадебный танец. А вечером позвонила Роза и сказала, что договорилась насчет ЗАГСа и ресторана. Ресторан напротив их дома, возле кинотеатра.

Свадьба была хорошая. И в меню была моя любимая мочанка. И не было цимеса. Но мне все равно казалось, что

среди гостей сидит отец Розиного ребенка. Я хотел спросить об этом Розу. И я думаю, она ответила бы мне честно, Но я не спросил.

После свадьбы переехал я к Розе, потом мы переехали в Сморгонь (я вспомнил слова реб Гиля) устроился на стройку каменщиком и поступил в Политехнический на инженера-строителя на заочный факультет. Сначала снимали жилье, а потом мне дали квартиру. В малосемейке. Через семь месяцев родился мальчик. Вполне хорошее время. Семимесячные дети рождаются довольно часто, успокоила меня мама. Мальчишка был совершенно не похож на Розу: русый, голубоглазый. Наверное, в папу. Мне хотелось сказать Розе, что у нее был красивый любовник, нечета мне. Но не сказал. Мама все спрашивала, на кого он похож. И я, вспомнив, мамины рассказы о дяде Теодоре, которого все принимали за русского, сказал, что малыш вылитый Теодор. И мама сразу стала говорить, что его надо назвать в честь дяди Тимкой. Но я возразил, сказав, что мы с Розой решили, что первый ребенок будет назван в честь ее родственников. А вот второго мы назовем в честь дяди Теодора. Когда я рассказал об этом реб Гилю, он долго цокал, а потом сказал:

— Рассмешил, рассмешил. Но так оно и будет!

— Что будет? — спросил я его.

— Много будешь знать — быстро состаришься, — ответил он.

Роза то же долго смеялась, когда я ей пересказал разговор с мамой, а потом сказала:

— Тогда назовем нашего малыша Мотей в честь моего дядю Мотылэ. Ты не против?

— Нет, — сказал я, — но ты мне про этого дядю ничего не говорила.

— В первый день рассказала, — засмеялась Роза.— По пятницам Мотэлэ давнэл, а по субботам ел фиш![1] Вспомнил?

— Вспомнил, — кивнул я. И провел ладонью по Розиным рыжим волосам.

---

[1] Давнэл — молился, фиш — рыба.

Пятилетие Моти совпало с моим окончанием института, и мы решили отметить оба праздника вместе, в Молодечно, в «Папараць-кветке», в том же ресторане, где была наша свадьба, и где готовят самую вкусную мочанку. По этому случаю приехали мои родители из Краснополья. Так получилось, что приехали они к самому торжеству. И уже за столом мама вспомнила о письме, которое они получили буквально перед отъездом:

— На автобус шли, и нашу почтальонку встретили. Говорит вам письмо. Взяли, смотрим, тебе.

Я взял письмо, пробежал глазами по адресу и вздрогнул. Я понял от кого это письмо. Я не мог ждать конца торжества: я открыл его сразу. Маленькое короткое письмо всего из нескольких предложений, написанных почему-то на медицинском бланке.

Я не знаю Вашего имени. Леша мне не сказал. Он называл Вас Философом. Он сказал, что если мне будет очень плохо, я могу обратиться к Вам. Мне плохо. Очень. Настя.

Роза заметила, что я изменился в лице.

— Что там? — встревожено, спросила она.

Я протянул ей письмо. Она пробежала его глазами, и ничего не поняв, спросила:

— Кто она?

— Она жена моего командира. Вечером все расскажу.

И все ей рассказал, ничего не утаив.

— Если бы тогда, сразу, пришло это письмо, то я, наверное, на ней бы женился,— честно сказал я, — но теперь у меня ты и Мотя. Но я должен поехать к ней. Ей плохо. Я обещал лейтенанту, что помогу.

— Да, поезжай, — согласно кивнула Роза, и, как всегда неожиданно, добавила.— Если ты решишь остаться с ней — оставайся! Ты нам с Мотей ничем не обязан. Это мы обязаны тебе! Я дам развод!

— Не говори глупостей, — сказал я и добавил, погрозив ей пальцем,— скорей ты меня бросишь, чем я тебя.

— Не дождешься! — сказала она и прижалась ко мне.

Роза сказала, что поговорит с моим начальством об отпуске, и я выехал утренним поездом на Москву, с билетами помог тесть, а потом от Москвы еще с двумя пересадками добирался до маленького поселка в Курской области, где Настя работала врачом в местной поликлинике.

— Чуть-чуть опоздали, — сказал главврач, маленький сухонький старичок, чем-то напоминающий гнома из детских сказок, — вчера Настасью Ивановну перевезли в областную больницу. Хотя, я бы это не делал. Ей уже ничем не помочь, а уходить в иной мир лучше в родных стенах. Но она не хочет, чтобы это было на глазах дочки. Вы Философ?

— Да, — сказал я.

— Она меня предупреждала о вас! Она очень вас ждала. У нас сегодня санитарный самолет, с области. Я могу поговорить, чтобы вас взяли. Может, успеете повидаться. Мы ее все очень любили, — сказал он почему-то в прошедшем времени.

— А Таня где? — спросил я.

— О девочке не беспокойтесь. Она у подруги Настасьи Ивановны пока. У нашего прокурора. У нас прокурор женщина. Строгая, строгая! Я бы вас чаем с медком угостил бы, но самолет через час улетает. Наш шофер вас довезет до аэродрома. Надеюсь, еще увидимся.

— Увидимся, — пообещал я.

Я застал ее еще живой. И первые слова ее были:

— А вы на Лешу похожи. Я боялась, что вы не откликнетесь. Спасибо вам! Не послушалась я Лёшу. Неудобно было, как-то самой, в жены напрашиваться. Не заведено это у нас. Решила сама оставшуюся жизнь прожить. Переехала в этот поселок. И вот теперь Лешка к себе зовет. Не хочу я, что б Таня, как мы с Лешей, воспитывалась в детдоме. Не хочу! Не хочу! — тихо, едва слышно, сказала она и замолчала, с надеждой глядя на меня.

У нее уже не было сил уговаривать меня. Но ее глаза молили. Они ждали моего ответа. И я сказал:

— Я заберу Таню. Она будет мне дочкой.

— Спасибо, — сказала она, — спасибо… Таня знает про вас. Скажите, что вы — Философ! И она вас узнает… Вера Ана-

тольевна поможет оформить все документы, — ее глаза стали влажными, и слезинки поползли по щекам. Она попыталась рукой вытереть их, но рука не послушалась и только вздрогнула, приподнявшись над одеялом.— Спасибо, — еще раз прошептали ее губы.

Вечером ее не стало.

Ночным автобусом я вернулся в местечко. Водитель автобуса, двигаясь по поселку, объявлял известные местным остановки:

— Почта, райком, магазин, больница.

Возле больницы я вышел. И почему-то решил не искать гостиницы, а зайти туда. На удивление мне, главврач все еще был на месте. Я рассказал ему все. А потом он повел меня к себе ночевать. Был он старым холостяком, жил в пристройке к больнице. Почти всю ночь мы сидели с ним, и пили медицинский спирт, чуть-чуть разведенный водой, закусывали луком, обильно посыпая его солью и запивали сырыми яйцами, которые ему привез брат из ближайшей деревни. И говорили.

— Хорошая женщина была. И умная, и красивая. В одном человеке — это редко совмещается. Вот Вера Анатольевна у нас — умная баба! Прокурор! Пока ушами видишь — хороша! А как глазами увидишь — испугаешься. Правда, муж у нее такой же. Но председатель нашего поселкового совета. Такова жизнь, как любят говорить умные люди….

— Такова, — согласился я.

— Когда Настасья Ивановна к нам приехала, я на ее глаз положил, — вернулся к прежнему разговору доктор, — даже согласен был на холостяцкую жизнь крест положить. Но не вышло. Правда. Наверное, возрастом не подошел. Но она даже нашему красавцу Рентгенологу от ворот поворот дала. А все женщины у нас по нем млеют. Она вообще ни с кем. Все своего Лешу вспоминала. Он и в правду, красавец был? — спросил он, с любопытством поглядев на меня.

Я пожал плечами и почему-то вспомнил Канта:

— Моральные принципы независимы от моральных доводов, красота вещь относительная, — сказал я, — если ты кого-то любишь, он для тебя красив.

— И вправду, ты философ, — заметил главврач. — Это придает мне надежду, что и я для кого-то Муслим Магомаев.

— Для кого-то, — согласился я.

— А ты женат? — доктор с хитринкой посмотрел на меня.

— Да, — сказал я.

— А дети у тебя есть?

— Есть.

— А жена твоя не будет против того, что ты удочеришь Таню? Ты с ней обговорил это дело?

— Обговорил, — первый раз в жизни соврал я.

Сказал я это как-то неуверенно, и доктор заметил это.

— Смотри, а то жёны очень щепетильны в этом вопросе. Будет всю жизнь думать, что дитя от любовницы! Вот если бы жена тебе привезла дитя неизвестно от кого, ты бы сразу подумал, что от любовника? Или нет?

— Нет, — уверенно сказал я.

…Хотя Таня и была на год старше Мотика, но выглядела ровесницей. Увидев меня впервые, она настороженно посмотрела на меня, и почему-то спряталась за более смелую подружку. И тогда я сказал, что я Философ. И в ту же секунду она бросилась ко мне:

— Папа!

Я подхватил ее на руки. Она прижалась к моей небритой щеке. И заплакала. А потом, повернулась к дочке прокурорши и гордо сказала:

— А ты говорила, что Философ не приедет. Мама сказала, что он приедет! И он приехал! Мама никогда не обманывает!

— Не обманывает, — подтвердил я.

— У меня папа Философ, а у тебя папа Ваня! — гордо заявила она подружке, а потом попросила: — Папа, а можно я тебя буду называть, как мама, просто Философ?

— Можно, — сказал я.

Так она меня называет и по сей день. Всех это очень удивляет. Сначала только она меня так называла, а потом и Мотю приучила к этому. И даже Роза иногда забудется и вместо Эмки зовет меня Фил. Звучит по-американски.

Все документы на удочерение оформили быстро, как говорится, вся власть в руках народа. Чтобы не было и дальше канители, исправили ей и отчество, и в выданном новом свидетельстве о рождении по случаю потери старого, записали, что отец я.

— Ну, что? — сказал сверчок, разбудивший меня среди ночи в поезде Калуга-Москва, — я же тебе говорил, что обещание мамы ты исполнишь, и второго ребенка назовешь в честь дяди Теодора. Из Теодора прекрасное имя для девочки Таня. Мама твоя будет рада. Как говорят цадики, ба едн умглык из ойх фаран глык![1]

— Папа Философ, что ты сам с собой разговариваешь во сне, — перебивает наш разговор проснувшаяся Таня.

— Это у философов бывает, — говорю я.— Спи!

3

Сколько домов пройдено,
Сколько пройдено стран,
Каждый дом — своя родина,
Свой океан.

Иосиф Уткин

А потом началась Америка. Закружился, завертелся еврейский народ, и потянулись, как стаи птиц к югу, еврейские караваны в Америку. Чуть ли не у всех нашлись там родственники близкие, далекие, третья вода на киселе, четвертая бабушка восьмого дяди, как говорит реб Гиля. Нашелся и у моего папы двоюродный брат троюродной тети, которого мы превратили в родного брата по дедушке. Поехали и мы. На таможне в Москве, пограничник долго удивлялся нашим малышам и не верил, что они не близнецы.

[1] И в несчастье можно счастье найти!

— Одно лицо, — говорит. — Только по писькам можно отличить! И бывает же такое! А в документах написано, что не близнецы!

Дальше можно и не рассказывать. Прошли все, как и все. Всякого хватало в жизни. На то, она и жизнь. Как говорил еще Шолом-Алейхем, дэм мэншнс лэбн из ви а ярид! Человеческая жизнь, как базар! Всего хватает! Но одну историю в конце хочется вам рассказать, мистер Баскин.

Двадцать лет прошло в Америке, как один день. Танечка врачом стала, а Мотя у нас адвокат. Слава Богу, внуки уже есть! Что еще в Америке надо? Я маленький бизнес имею, копейка капает, жизнь идет. Роза в Еврейском центре работает, помогает старикам нашим документы всякие оформлять. В общем, как говорит реб Гиля, живи и радуйся!

И вот вчера приходит Роза с работы и сверкает, как новая люстра. По лицу вижу, что ей не терпится мне что-то рассказать. Но жду. Вопросы не задаю. Покрутилась на кухне. Ужин приготовила. Зовет к столу. И не успел я к блинчикам прикоснуться, как говорит:

— Эмма, ты знаешь, кто сегодня ко мне на консультацию приходил? — и хитро смотрит на меня.

И тут мне сверчок на ухо шепчет:

— Он.

Ну, я и говорю:

— Он!

Она на меня глаза вытаращила:

— Откуда ты знаешь? Только не говори, что сверчок подсказал! Я от этих разговоров с ума могу сойти!

И я решил ее успокоить:

— Просто так сказал. Есть же только два варианта: Он или Она. Я выбрал Он.

— Так ты не знаешь, кто Он?

— Не знаю, — говорю.

— Ну, — она на пару секунд замолчала, подбирая слово, чтобы меня не обидеть, потом сказала, — мой старый знакомый с Молодечно! — и тут же, не дав мне вставить вопрос,

не останавливаясь, пояснила: — Он меня не узнал! Представляешь, не узнал! Ты думаешь, я так изменилась?

— Я думаю о другом, — неожиданно для нее, сказал я, — я думаю, а хотелось ли тебе, чтобы Он тебя узнал?

— Хотелось! — как всегда честно, призналась она.

Вот такая история. Как говорили у нас в Краснополье, «жыцце, што воуна, як ні круці, а выпрастаецца усяроуна». Жизнь, как шерстенная нить, как ее не закручивай, а все равно выпрямится!

СУВЕНИР ИЗ НЬЮ-ЙОРКА

Ищи — найдешь,
Стучи — откроют,
Проси — дадут.
Белорусская пословица

Шлойма

Готыню, прости, что беспокою тебя. Я ничего не прошу. Я знаю, все, что ты можешь, ты и без нашей просьбы делаешь. Я просто хочу поговорить. Я понимаю, что тебе сейчас не до меня: у всех горе — а милхоме! Война! А когда человеку плохо, он вспоминает о Тебе. Так и я! Я Тебе скажу честно, не всегда у меня получалось справлять праздник и не всегда я ел кошер. И в шабес приходилось работать. Моя Этта говорила всегда: Б-г с неба все видит, он знает, что если бы мы все могли жить, как написано в Торе, мы бы так жили! Какой дурак не захочет в шабес кушать халу? Но где ее взять?

Ты знаешь, Готыню, как мы жили: ни минуты не сидели, все трудились, а когда пришлось в город Этту послать, еле денег насобирали, у соседей одалживали. И надо было же такому случиться — за неделю до войны Этта моя заболела. Всегда все болезни на ногах переносила, а тут лежит и стонет. Пузенков, наш врач, говорит:

— Шлойма, надо жену в город везти, спасать надо!

А Этта — ни в какую: здесь пройдет! Но уговорили. И Лева, мой средний сынок, повез ее в Могилев. Как они там, Готыню? Среди чужих беда еще горше, а еды они с собой взяли — что кот наплакал. Хотел я зарезать теленка, так Этта закричала: корову растить будем! И на тебе — вырастили… Я всегда говорил: не держи на завтра то, что надо сегодня. Но так вышло, и говори — не говори, а назад не вернешь.

Пятеро у нас детей, а остался я с Хаимкой. Старших еще в Финскую войну забрали, так и остались служить. Где они сейчас, Готыню? Ой, Готыню, я думаю, все болезни у Этты оттого, что за них беспокоилась. И утром: как там Лазарька с Файвелэ, и вечером: что с ними, Шлойма, у меня спрашивает.

Берег ты их в Финскую, Готыню, побереги и сейчас! А Ичиле в Гомеле где-то сейчас. Он там учится. На свой хлеб пошел. Все учителя говорили: учиться он должен, головастенький у вас сынок. Долго мы думали, как все это сделать. Знаем, что нельзя ему жизнь калечить, если умная голова, а на какие деньги учить? Слава Б-гу, сосед наш Данила сказал, что брат его в Гомеле бригадиром у грузчиков работает, пароходы по ночам разгружает, так он пристроит в бригаду Ичиле, не оставит в беде земляка! Ты знаешь, Готыню, что такое ночью трудиться, а днем на учебу ходить? А он еще и нам деньги присылал, когда кто из гомельских сюда ехал. Ой, Готыню, сколько мы с Эттой наплакались, когда Степка, Дарьин сын, из Гомеля приехал и рассказал нам, как Ичиле от голода на улице в обморок упал! А нам все пишет: не волнуйтесь, все хорошо, мол, сыт, обут, не волнуйтесь. Ой, Готыню, все они, сыновья, такие у меня! Этта все время кричит, что в меня они такие:

— Чтоб вам плохо было и вы про это сказали, такое не бывает! У других болячка на пальце выскочит — все Краснополье знает, а вы умирать будете, я последней узнаю.

А что, Готыню, разве криком поможешь? И себе от этого нелегко, и другим несладко. Но такие от роду мы: мой младшенький Хаимка, шесть лет всего, а лишнюю корочку хлеба не возьмет, мне все подсовывает: ты, папа, большой, тебе больше кушать надо. Ой, Готыню, что с ним будет? Вчера, как стемнело, прибежала Акулина, бывшая соседка наша:

— Шлойма, — говорит, — я сегодня у старосты полы мыла, на свои уши слышала: завтра всех евреев в горповскую конюшню сгонят, а потом расстреляют! Бежать надо! Я вас на хутор к своей матери сведу, схоронитесь там. Немцы до них еще не доходили.

И что мне надо было ответить ей, Готыню? Ты же знаешь, на руках у нее четверо детей, один другого меньше.

— Не могу, — говорю, — бежать, издалека видно, что еврей. Словят меня, и тебе горе будет.

А детки мои в Этту пошли — светлые, голубоглазые, их всегда за белорусов принимали.

— Если можешь, спаси Хаимку! — говорю. — Его заберешь, мне легче будет!

— Хорошо, Шлойма, — заплакала Акулина. — Обещаю тебе, что будет он мне роднее моих деток. Всю, считай, жизнь мы прожили в соседях, мои детки у вас за столом были как свои, ваши — у меня. Вместе у нас и радости, и горести были! Придут с войны ваши, верну я Хаимку, а не придут — мне за сына будет. Где есть четверо, и пятому место найдется. Степка против не будет!

А Хаимка уцепился за меня ручонками и не отпускает. Так и заснул у меня на руках, сонного его Акулина забрала. В ту же ночь ушла она из Краснополья. Береги ее, Готуню! И детей ее! И мужа ее Степку, что ушел с моими в армию.

Прости меня, Готыню, что от дел тебя отрываю. Дел у тебя сейчас побольше, чем у Сталина, и на душе не легче, чем у него. Так ты не слушай меня, своими делами занимайся, а я просто так говорить буду. Всю жизнь молчал, а сейчас выговориться захотелось. Как в Торе написано: придет время, придут слова. И вот пришло оно, и слова пришли, а слушать некому. Все только говорить хотят.

Вот я и думаю: что с людьми сделалось? Каин на Авеля пошел. А ведь все под одним солнцем ходили, одним дождем поливались. Вместе все жили, а теперь разошлись по углам, как после Вавилонской башни. Знаю я: кто от страха таким стал, а кто и по злобе своей лютует. Белое сделалось черным, а черное белым. Учетчик у нас в колхозе был, Кузьма — тише человека не было, муху не обидит. Этта всегда говорила: Кузьма — а гутэр мэн! И что? Первым в полицаи подался. И лютует, как миколава собака, когда сбесилась. А Ленька, Тамаркипродавщицы сынок, первым хулиганом был, ни одна драка без него не обходилась, собой внучку Рахили прикрыл, когда полицаи в стрельбе упражнялись! Ой, Готыню, что делается! Ночь сегодня длинная, а сомкнуть глаз никто не может.

Рохл всем говорит:

— Нас завтра в Палестину отвезут. Договор такой товарищ Сталин с немцами подписал.

И все на нее с надеждой глядят, как на Мошиаха. А она, бедная, еще вчера с ума сошла, когда полицаи ее внучку увели. Ой, Готыню, что делается?!

Вот я думаю, если бы меня сейчас спросили, чего ты желаешь, Шлойма, живым из этого пекла выбраться или знать, что дети твои живыми сквозь этот огонь пройдут, я бы выбрал второе. Как хотел бы я знать, что с ними будет!

Где Файвеле, где Ичинька, где Лазарька, где Левалэ, где Хаимка? Что с Эттой?

Береги всех, Готуню! Вот прошу я, а сам знаю, что и без моих слов бережешь ты, кого можешь. Готыню, прости, что тревожу тебя! Я ведь знаю, что трудней тебе, чем каждому из нас. Все мы — дети твои: и злые, и добрые. Прошу тебя, не пожалей, что создал человека на земле и не скорби в сердце своем. Рядом со Злом — Добро ходит. Было так, так и будет. Не в ответе Авель за Каина…

Хаим

Знаете, мистер Баскин, до Америки я Харитоном был. Жена Хариком зовет. А когда для Америки документы оформлял, к старому имени вернулся, что отец мне дал. Но если окликнет теперь меня кто-нибудь: «Хаим!» — не обернусь — не привык еще. Так вот все у меня получилось. Всю войну я провел в деревне у мамы Акулины, что меня из гетто вынесла. Тогда она меня Харитоном и назвала, чтобы близко к моему настоящему имени было. Все меня в деревне ее сыном считали: жили мы на хуторе, дома один от одного далеко, толком никто друг о друге не знал, да и Акулина жила все время в Краснополье, и для хуторян была городская. После войны никто из моих не вернулся, и остался я у Акулины. Ее муж Степан тоже не пришел с войны, и пришлось ей растить всех нас пятерых одной. Нелегкая была у нас жизнь, но дружная.

Все дети выросли, выучились. Я маленький был, когда потерял всех, и даже лица отцовского не запомнил. Только мама мне часто о наших говорила: и про папу, и про маму родную, и про братьев. От нее я про всех узнал.

А когда пришло время документы получать, Акулина сказала:

— Сынок, запишись, что еврей ты. От народа своего нельзя отрекаться.

Я и записался.

А потом она мне сказала:

— В жены возьми еврейку. Ваших столько поубивали в войну, что оставшимся надо вместе собираться, чтобы род не кончился.

Так я женился на Гале, тоже нашей краснопольской, дочке Наума-столяра. Мама Акулина была рада моему выбору:

— Слава Богу, — говорила, — я своими глазами твою жену увидела: вижу по глазам, что добрая, а это для жизни, сынок, самое главное. Как мой бацька говорил: краса як раса: сыйдзе да вечара, а дабрыня и у ночы бачна.

А потом у нас родился сын, и решили мы назвать его Степкой — в память о муже Акулины. Да только она про это и слушать не хотела:

— Степково имя еще есть кому давать, а твой татка тольки на цябе надзею мае! Пусть твой сынок его имя носит.

И назвали мы сына Шимоном.

— Копия дед, — сказала мама Акулина. — Все ваши в Этту были, а этот вылитый Шлойма. Вот когда у тебя пятеро будет, как в нашей семье, можешь одного и Степкой назвать. Я тогда против не буду.

Я вот все вам говорю, мистер Баскин, а про то, как сюда прикатил, не сказал. А приехал я сюда одним из первых. Через Вену еще…

Как поехали первые семьи, вдруг пришло нам письмо из Америки. Моя Галя открыть его побоялась, меня с работы ждала. И кто, вы думаете, письмо мне это прислал? Скажу — не поверите! Мой старший брат Лазарь. Через столько лет нашелся!

Оказывается, кого-то из краснопольцев встретил в Нью-Йорке и узнал, что я жив! Читал я его письмо и плакал. И жена моя плакала. И мама Акулина.

Во время войны он, оказывается, в плен попал. Выдал себя за русского. Так же, как и все мы, он на еврея не был похож. И погнали его по лагерям. Самые страшные прошел: и Треблинку, и Майданек. И бежал. И потом два года прятался у одной немецкой фермерши под Мюнхеном. А когда окончилась война, побоялся возвращаться домой, в Краснополье, и уехал с фермершей Гретой в Америку.

«Столько лет прошло, а Краснополье ночами снится. И дом папин. И все наши. Хаимка, тебя маленьким помню, таким ты мне и снишься, — пишет. — Старый я стал, и хворобы одолели, из госпиталей почти не выхожу. Хочу тебя, Хаимка, увидеть. Сколько мне лет еще Б-г даст рядом с тобой пожить! Я уже не думал, что свидимся, да судьба повернулась лицом к нам…»

Вот такое письмо, вот такая судьба. И что вы мне прикажете делать?

— Что подскажешь мне, мама? — спрашиваю.

— Ехать надо, сынок, — говорит, а у самой глаза в слезах, платком утирает. — Я родная тебе, а Лазарь родней. Не война сейчас, даст Бог, еще свидимся. Шимка подрастет, в гости приедет. Скучать я буду, и поплачу не раз, но дать тебе совет другой не могу: не по-божески это будет. И еще тебе, сыночек, хочу одно дело рассказать: Шимка не даст соврать, я его просила не говорить тебе и сама молчала, а сейчас скажу, чтоб легче тебе дорога была.

Пошла я как-то с Шимкой молочные бутылки сдавать, очередь, как всегда, на полдня, но куда нам спешить?! Стоим, воздухом дышим. И тут к очереди мужичок подошел, интеллигентный с виду. Стал напротив Шимки и говорит:

— В няньках у них работаешь?

Посмотрела я в эту минуту в Шимкины глаза и испугалась. Не дай Бог такие глазенки у родного дитяти увидеть. И что, ты думаешь, я сказала этому недобитку? Нет, я не сказала, что евреи такие же люди, как все. И фашистом его не назвала. А от страха закричала:

— Не еврей он! Это внучек мой, белорус! Ты, что окаянный, по пьяни не видишь?!

И бабы вокруг загукали:

— Белорус он!

Хмыкнул стервец:

— А похож на жида! — и ушел, слава Богу.

А Шимка на руки попросился, прижался ко мне и молчит, как ты, когда я несла тебя от таты. И тогда я подумала, а хорошо бы было, чтобы внучек мой, как все ваши, уехал и не знал бы таких стервецов никогда! Всю ту ночь я не спала и думала так. И Бога просила. Может быть, он услышал — и Лазарь вас отыскал? Езжай, сыночек! Спокойней мне будет за внука, — сказала и лицо закрыла, чтобы слез мы не видели.

Год ушел на все документы, переписки, записки. Весь год представлял я, как встречу Лазаря. А встретить не пришлось: не дожил он до этой радости, за неделю до нашего приезда умер.

Грета встретила нас, а на следующий день уехала к сыну в Хьюстон. Даже не поговорили толком: она по-русски только два слова знала, а мы по-английски и того меньше. И немецкий так же не знали. Помекали-побекали и ничего не поняли. А чего ждать было? Какая мы ей родня? Наши еврейские невестки — и те на родню мужа смотрят, как хрусталь на стекло. А нам тут и до стекла далеко. Разовый стаканчик, и все. Но, слава Б-гу, не пропали. Все было: и плохое, и хорошее. Но как сказала мне мама, почаще смотри в глаза сыну — в них прочтешь ответ на главный вопрос: правильно ли сделал, что поехал в Америку.

И скажу вам, мистер Баскин, разное я в них видел. В первые годы у нас каждый доллар был на счету (да и сейчас не шикуем), и поехал я как-то с классом сына на экскурсию на ферму. Экскурсию школа оплатила, для нас все бесплатно. Но на ферме детям предложили покататься на лошадях. За доллар! А у меня его не было.

— Ты хочешь покататься? — спросил я сына.

— Нет, — сказал он, и в глазах его я увидел слезы.

Видел я и радость в его глазах, когда он поступил в Гарвард. Когда-то дочка нашей знакомой поступила в МГУ, так про это все Краснополье говорило целый год. А здесь — Гарвард так Гарвард.

— Большое дело! — сказала наша соседка. — Какое это значение имеет, где учиться? Главное, чтобы потом были хорошие деньги.

Нелегко нам дались все эти годы. В долги по уши забрались, а работали без выходных. Галя у меня молчаливая, никогда ни на что не пожалуется, а я другой, мне иногда выговориться хочется. Хотя она права — словами делу не поможешь. А все-таки поговоришь — и легче.

Но все перетерпели, и Шимка, слава Б-гу, окончил университет. И стал хирургом. Вначале он устроился в маленький госпиталь под Нью-Йорком. Но как писала мама, «не хвалюйцеся, сланечник и з рапейника галаву выцягне». Шимку заметили. Переехал он в Нью-Йорк, дом собрались покупать. Операций у него — на год вперед. Взрослым человеком стал, а в душе — тот же Шимка, который с папой по каждому вопросу совет держит. Это он в меня пошел такой нерешительный. И я даю совет хирургу, которого слушается целый госпиталь!

Вчера он пришел ко мне и говорит:

— Папа, к нам в госпиталь пришло письмо из Белоруссии, из-под Гомеля. Родители семилетней девочки пишут, что у них осталась одна надежда на нас. Они прочитали в прессе, что операцию, которую необходимо их дочери, делают только в нашем госпитале.

— И что? — спросил я.

— Я прочитал диагноз и историю болезни, которую написал их сельский врач. Они правы. Операция уникальна. Пока в мире сделано три таких операции. Две у нас и одна в ЮАР! В Йоханнесбурге пациент не выжил.

— Ты можешь ее сделать? — спросил я.

— Да, — сказал Шимон. — Правда, шансов на благополучный исход — половина на половину. А не делать операцию — значит, не оставить никакого шанса.

— Можешь — делай! — сказал я.

— Но кроме всего прочего нужны деньги. Это очень дорогая операция. Очень, — Шимон настороженно посмотрел на меня и тихо добавил: — Кроме того, нужно оплатить их проезд. Туда и обратно. У родителей девочки денег нет! Все это очень дорого, папа!

— Не дороже жизни, сынок, — сказал я. — Нас спасали — и мы должны спасать!

— Я знал, что ты так скажешь, папа, — глаза Шимона улыбнулись. — Я знал — и весь кредит, что я взял под дом, я отдал на операцию. Обойдемся пока без дома.

— Обойдемся, сынок, — сказал я и обнял моего Шимку. Как маленького. И услыхал, как бьется его сердце.

Шимон

Вы знаете, мистер Баскин, иногда в жизни бывают минуты, когда человек способен совершить невозможное. И именно такие минуты были во время этой операции. Я начал ее в полночь и закончил в шесть утра. Шесть часов между жизнью и смертью. Бывали мгновения, когда все поддавались панике: и люди, и приборы. Все! Но я продолжал работу с уже остановившимся сердцем и в противоречии с теорией находил выход, и сердце оживало. И когда я услышал за спиной голос операционной сестры: “Все!”, я обернулся, как сумасшедший:

— Что все?

— Все хорошо, доктор, — поспешно сказала она. — Приборы показывают стабильность, сердце пошло.

Я знал это без приборов.

— Можно зашивать? — спросил ассистент.

— Сегодня я это сделаю сам, — сказал я. Я никому не мог доверит спасенное сердце девочки.

А потом мой коллега реб Розенбаум скажет:

— Шимон, у тебя был просто шок! Это сделали бы без тебя лучше.

Я ним соглашусь. Но не в ту минуту. Я не мог тогда отойти от девочки. Я хотел слушать, как спокойно, прекрасно, уверенно бьется ее сердце.

Потом я, как во сне, шел вслед за биением этого сердца до реанимационной палаты, и медсестры шли за мной, не останавливая меня. Наконец, рыжая ирландка Пегги взяла меня за руку:

— Доктор, операция окончена, все нормально.

И я остановился. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти.

— Да, — сказал я. — Пойду к себе.

Как говорил великий рабаям Маймонис, спасибо, Готуню, что ты дал мне возможность спасти человека!

Я мог ехать домой, моя работа на сегодня закончена. Но я так устал, что побоялся сесть за руль и решил хотя бы с полчасика подремать в кресле: глаза просто слипались.

Не помню, сколько я спал, только вдруг сквозь сон почувствовал, что кто-то гладит меня по голове. Точно так, как это делал папа, когда я был маленьким. Я открыл глаза и… увидел дедушку! Да, это был мой дедушка, я его сразу узнал, хотя никогда не видел. Ведь он погиб в гетто, когда я еще не родился. Я знал, что это мой дедушка Шлойма. И как это вам не покажется странным, я не был удивлен его появлению. Я просто знал, что это сон, но во сне ничему не удивляешься. Дедушка стоял возле меня в рваной заплатанной фуфайке, в сапогах и в шапке-ушанке.

— Внучек, — сказал он, и слеза покатилась по его щеке. — Если бы ты знал, из какого далека я пришел, чтобы увидеть тебя! Но, как сказано в Торе, если Готуню захочет, ночь станет днем, а день ночью. Он захотел — и я пришел к тебе. Спасибо, Готыню, что Ты дал мне минуту радости в час печали! — дедушка вытер слезу. — Разве я когда думал, что внучек мой станет в Америке доктором! Скажи кому-нибудь такое в Краснополье — не поверят. Скажут, что Шлойма с ума сошел. Я знаю, внучек, что ты устал сегодня: не вовремя я пришел, но не я выбрал время, а время выбрало меня. Я побуду немного и уйду. А ты спи. Я не спрашиваю ни о чем. Раз ты есть, значит, род наш живой. Как была бы рада Этта, если бы знала, что есть у нас внучек. Каждый день она о тебе говорила, не зная тебя. Корову купили — внукам молоко будет, яблоню посадили — внукам яблоки будут! Все меня пилила: Шлойма, надо крышу

в доме переложить — внукам мы должны дом в порядке оставить! Как будто внуки уже по двору бегали. А потом ни дома не стало, ни коровы, ни яблони. Дожила ли она до радости увидеть тебя, внучек?

— Нет, дедушка, — тихо сказал я, — папа мне говорил, что от тифа она умерла в Бухаре. Краснопольцы, что вернулись оттуда после войны, рассказали.

— Да, дела, как сажа, — вздохнул дедушка. — И ее, значит, война не пощадила.

Утер дедушка слезу рукавом, и, внимательно посмотрев на меня, вдруг спросил:

— А не сон ли все это?

— Не знаю, — сказал я. — Как будто бы сон и как будто бы нет.

— Проснусь поутру — и знать не буду, во сне ты мне, внучек, привиделся или наяву тебя видел, — дедушка поправил шапку, осмотрелся по сторонам и увидел на моем столе статуэтку — бронзовую фигурку Статуи Свободы.

— Вос из дос? Что это? — спросил дедушка по-еврейски.

— Это Статуя Свободы, — сказал я. — Символ Нью-Йорка!

— Сво-бо-да! — произнес по слогам дедушка и осторожно взял в руки статуэтку.

Он долго рассматривал ее, потом сказал:

— Зуналэ, а ты можешь мне ее подарить? Когда я проснусь и увижу в своих руках эту статуэтку, то буду знать, что встретился с тобою не во сне, а наяву! Видишь, внучек, моя голова что-то еще соображает.

— Бери ее, дедушка, — сказал я.

— Спасибо, зуналэ, — сказал дедушка и прижал к себе бронзовую Свободу. — Как писали в газетах, со Свободой умирать легче!

— Не умирай, дедушка, — попросил я.

— Внучек, — дедушка вздохнул, — если евреи не будут умирать, то Палестины на всех не хватит. Так говорил наш ребе.

— Не умирай! — закричал я и… проснулся.

Пегги трясла меня за плечо, стараясь разбудить.

— Извините, доктор, но вы так страшно кричали, что я услыхала ваш крик в коридоре и прибежала. Что с вами?

— Сон удивительный! — сказал я. — Я видел своего дедушку, который погиб во время войны. Я разговаривал с ним, как будто наяву. И подарил ему статуэтку Статуи Свободы, что стоит на моем столе.

Я машинально бросил взгляд на стол и вскочил с кресла: статуэтки на столе не было!

Я повернулся к Пегги:

— Где она?

— Успокойтесь, — сказала Пегги. — Вы сегодня после операции были как сомнамбула. Наверное, куда-то положили статуэтку и сейчас не можете вспомнить куда. Со мной такое тоже бывает.

— А со мною нет, — раздраженно сказал я и, заметив в глазах Пегги смятение, спокойно добавил: — А может, вы и правы! Найдется пропажа! — и, чтобы полностью успокоить Пегги, сказал: — А как наша пациентка?

— Все нормально. Она уже пришла в себя. Приехала ее мать. Она прямо с аэропорта. Сидит в приемной. Макс разговаривает с ней. Но она хочет видеть вас. Вы будете с ней говорить?

— Да-да, — сказал я и пошел вниз, в приемную. Уже было девять утра и людей, ожидающих врачей, было довольно много. Мать Оли я узнал сразу. Она была очень похожа на дочку. Широколицая, с круглыми глазами, чем-то похожая на плюшевого медвежонка…

И первый ее вопрос был:

— Как Оля? — как будто до этого она не разговаривала с Максом.

— Все хорошо, — сказал я и добавил, вспомнив приговорку бабушки Акулины: — Пакуль жаницца, усе загаицца!

Женщина удивленно посмотрела на меня:

— Вы белорус?

— Я еврей. Но могу говорить по-русски и по-белорусски. Правда, писать могу только по-английски.

— А я английский учила в школе, но ни писать, ни читать, ни говорить не могу. Слава Богу, что меня встретили в аэропорту и привезли сюда. Большое спасибо! — женщина наклонилась над сумкой, стоящей у ее ног и, вытащив из нее маленькую бронзовую статуэтку Статуи Свободы, протянула ее мне: — Это вам передал дедушка Оли! Это наш семейный талисман.

Почему-то по телу моему пробежала дрожь. Но я не выдал своего волнения.

— Подарок от деда Кузи, — выдавил я из себя улыбку. — Оля много мне рассказывала о нем.

— Она у него любимица. Кузьма Егорович души в ней не чает! Если бы не годы, а ему уже за девяносто, полетел бы со мной! Эта статуэтка у него, как талисман! Она приносит удачу! И я вам скажу, это так и есть. Когда посылали письмо к вам, Кузьма Егорович на нем всю ночь эту статуэтку держал. И как видите, помогло. А теперь он ее вам передал! Чтобы вам она помогла вылечить Олю!

Я дрожащей рукой взял статуэтку и машинально провел по донышку пальцем — и ощутил три насечки, которые я когда-то сделал: папа, мама и я!

Она что-то еще говорила. И что-то говорил я. А потом я вернулся в свой кабинет и поставил статуэтку на место. И долго смотрел на нее.

Я даже не услышал, как вошла Пегги. Заметив статуэтку, она воскликнула:

— Ну, вот! Я же говорила, что найдется пропажа! Чудес на свете не бывает! И где она была?

— Далеко, — ответил я и не уточнил где.

Шлойма

— Егорыч! — крикнул Тихон. — Посмотри, кто остался в сарае. Немцы сказали все закончить к шести. Шевелись!

В сарае все еще было темно. Кузьма несколько минут стоял у ворот, вглядываясь в темноту, а потом закричал:

— Жиды, выходите! Курица подана!

Никто не отозвался, и Кузьма, сплюнув, вошел вовнутрь.

Шлойма лежал у самой стены. Кузьма ткнул его сапогом, выругался и с досадой сказал:

— Сдох. Теперь тащить наружу надо. Не мог дождаться, чтоб со всеми вместе шлепнули.

Он нагнулся над Шлоймой и увидел в руках у него статуэтку — маленькую бронзовую Статую Свободы.

СОНАТА ДЛЯ ФОРТЕПЬЯНО, СКРИПКИ И ГОБОЯ

Фортепьяно, или Шлома

Если вы думаете, что Сыкер — это фамилия Шломы, то вы ошибаетесь. Сыкер — это на идиш «пьяница». Такое имя Шломе дала его жена Перла. Шлома, конечно, любил выпить и умел выпить, но никто никогда не видал его валяющимся под забором или в каком ином непотребном виде. И поэтому имя Сыкер ему по-настоящему никак не подходило, но Перла упорно называла его так, и, в конце концов, все Краснополье привыкло, что Шлома — это Сыкер. И самое главное, что и сам Шлома привык к этому имени и спокойно отзывался на него.

Работал Шлома парикмахером, и посему он знал всех не только в Краснополье, но и всех во всем районе, ибо в базарный день стричься к Шломе приезжали даже с Горок, самой далекой от райцентра деревни. Как это можно было побывать в райцентре и не постричься у Шломы! Стриглось у Шломы и все краснопольское начальство: к секретарю райкома и военкому Шлома ходил на дом, а все остальные сами приходили к нему. Шлома мог сделать любую причёску, но не гнушался и стричь под нулёвку призывников. Ходил слух, что во время войны он стриг однажды самого Жукова. Шлома решительно опровергал этот слух и пояснял, что к парикмахерству во время войны не имел никакого отношения, а был полковым разведчиком.

Призывники знали, что у Шломы добрая рука, и верили, что, если их перед армией постриг Шлома, служба будет легкой. Когда однажды в день отправки призывников Шлома приболел и стричь пришел Шломов напарник Евсей, кото-

рый, кстати, был родным братом Шломы, возник маленький бедлам, и военкому пришлось позвонить в Могилёв и перенести отправку новобранцев на следующую неделю, чтобы дождаться выздоровления Шломы.

Что же касается краснопольских евреев, то для них парикмахерская была чем-то вроде синагоги: туда заходили поговорить про жизнь. И, между прочим, выпить немножко вина. Заходили с любимым шломиным портвейном, который в те времена стоил всего два рубля, дешевле стрижки, а закуска у Шломы всегда была: тетя Поля давала Шломе обед на роту солдат. После питья рука у Шломы не дрожала, и продолжал он свою работу с тем же блеском, как и до питья, а может быть, даже и с большей ловкостью, ибо как он говорил:

— Абисалэ вайн махт а лебун абисэлэ бетэр! Немножко вина делает жизнь немножко лучшей! Ты забываешь про плохое и вспоминаешь про хорошее! И понимаешь, что все остальное в жизни шерри-бренди, чепуха.

Что такое шерри-бренди, никто в Краснополье не знал, и сам Шлома толком объяснить не мог, только с этой поговоркой пришел он с финской войны, с ней ушел в Отечественную, и прилипла она к нему так же, как и Перлин «Сыкер».

У Шломы и Перлы не было своих детей и, как бывает в таких семьях, они смотрели на всех детей с трепетом и любовью. Шлома особенно любил Пашку, сына уборщицы Дома Быта тети Насти. Начали её звать тетей лет в двадцать… Может, оттого что в эти годы она имела уже Пашку. Как говорили в Краснополье, набайстручила она Пашку от заезжего лейтенанта, который приезжал в поселок за новобранцами. Когда Пашка был маленький, тетя Настя брала его с собой на работу, и он послушно сидел на диване вместе с ожидающими клиентами. Шлома всегда давал ему рубль на мороженое и на детское кино в воскресенье, и ещё угощал Перлиными сладостями, которые она всегда готовила на шабес. Когда Пашка пошел в школу, Шлома подарил ему ранец и пообещал за каждую пятерку давать рубль. Надо сказать, что в младших классах Пашка учился хорошо, и даже

в пятом классе районка напечатала его сатирическое стихотворение. Стихотворение очень понравилось Шломе, он всем читал его, а Пашку стал звать с этого времени Феферкой. Настя знала немножко на идиш, как-никак жила среди евреев, и когда Пашка спросил у нее, что такое Фефер, она объяснила ему, что это Перчик.

— Понятно, — понял Пашка, — Перчик потому, что я написал сатиру. Мы в школе проходили, что поэт Атрахович взял псевдоним Крапива.

А Шлома, прочитав Перле Пашкино стихотворение, сказал:

— Хорошо написано. Как у Изика Фефера. Просто и понятно. Юный Феферчик!

Пашка любил Шлому и по-своему защищал его. Перед своими дружками. Когда он был маленьким, то объяснял дружкам, что Шлома не еврей, его из детдома тетя Перла взяла и дала еврейское имя, а по-настоящему его зовут Иван. А когда вырос, успокаивал пацанов более круто:

— Помолчи, а то услышит Шлома, быстро сделает секирбашка. Будешь стричься, не там чиркнет и каюк! И ему ничего не будет. У него справка от Жукова. Моя матка сама видела…

Шлома был спокойный, уживчивый, можно сказать уступчивый человек, но в жизни были одна вещь, которую он не мог спокойно переносить: это когда кто-то при нем произносил слово «жид»!

Он не обижался на любые шутки, но в этом случае Шлома не уступал ни на йоту, даже если это не сулило ему ничего хорошего. Он загорался, как индюк, и мчался напролом, круша всё на своем пути к справедливости. Это знали самые отпетые краснопольские хулиганы и не задирались с ним. Кроме Лешки Картавого. В роду у Лешки все мужики были рыжие, долгоносые, картавые, похожие на евреев, и это выводило их из себя. Евреи говорили, что когда-то их прабабушка была горничной у барона Розенфельда, посему их род стал похожим на евреев. Говорили это евреи между собой, потому что такой обиды Картавые не спустили бы ни кому. Лешкин

дед вырезал половину краснопольских евреев во время погрома в гражданскую, а батька в Отечественную был полицаем и, как рассказывали в Краснополье, убивал еврейских детей. После войны, вернувшись из лагеря, он был тише воды, ниже травы, но свою ненависть передал Лешке. Самое обидное для Лешки было то, что он был, как и его отец, похожий на еврея, и это выводило его из себя:

— Не жид я, а немец, — доводил он каждому, — батька мой из немцев!

Вымахал он дылдою в два метра, во всех драках и пьянках был первым, но в открытую со Шломой не сталкивался и даже, когда забирали в армию, подсунул свою голову под Шломову машинку. Чтобы повезло.

Хоть и уверяли плакаты в военкомате, что армия исправляет самых отпетых хулиганов, Лешка вернулся прежним, даже худшим. И силы прибавилось, и злобы. Опять он стал верховодить в поселке…

А Пашку под нулёвку стригли в Могилеве. После школы он поступил в техникум и оттуда ушел служить. Попал в Афганистан и вернулся без ног.

Окончил техникум и устроился в Кричеве на автобазе. В Краснополье приезжал только на праздники. И всегда заходил к Шломе постричься и поговорить. Хоть он больше стихов не писал, но Шлома все равно называл его Феферкой, и Пашка на это не обижался. Ему даже нравилось это имя…

Когда из Краснополья начали уезжать евреи, и одним из первых подался в Америку Евсей, Пашка сказал Шломе:

— Все ваши едут. У нас в Кричеве уже ни одного еврея не осталось. А вы чего ждете?

— Не знаю, чего жду. У моря погоды, наверное, — грустно сказал Шлома и добавил, — Перла каждый день про это разговоры заводит. Ей кажется, что там булка с маслом. А там, как и везде, шерри-бренди, чепуха…

— Может, и шерри-бренди, а лучше, чем здесь, — сказал Пашка и неожиданно добавил, — там вас хоть Лешка Немец жидом не назовет!

— Тебе уже рассказали, — вздохнул Шлома и добавил, не ожидая ответа, — не на одних Лешках Краснополье держится.

А назвал Лешка Шлому жидом на День Победы, можно сказать, в святой для Шломы день. В этот день в Краснополье всегда устраивали маевку возле кургана на чериковской дороге. Шлома всегда в этот день надевал свою единственную медаль «За отвагу» и первым домбытовским автобусом уезжал на курган. Как всегда, он подходил ко всем компаниям, всюду его поздравляли и угощали и он чувствовал себя самым счастливым человеком. В этот день возле кургана всегда было много приезжих, бывших краснопольцев, Шломе было что вспомнить и о чём поговорить. Как говорила Перла, он сиял в этот день, как субботняя хала, только что вынутая из печки.

У Лешкиной компании Шлома оказался где-то к середине дня. Останавливаться он не хотел возле них, но Лешка его окликнул сам:

— Шлома, — сказал он, — у нас тут к тебе вопросик есть. Как к ветерану.

— Какой? — спросил Шлома.

— Я тут пацанам говорю, что тебе за стрижку медаль дали, а они не верят. Подтверди!

Маленький Шлома посмотрел на него снизу вверх и сказал:

— Перебрал ты сегодня. Не то говоришь.

— Я, перебрал?! — хмыкнул Лешка. — Тебе и не снилось, сколько я могу выпить! Кстати, второй есть вопросик: почему вы, жиды, не можете пить по-мужицки? Давай, кто кого перепьёт. Тут узнаем, служил ты на фронте или в Ташкенте! Наш полковник говорил, настоящий русский солдат может выпить цистерну. А ихний на первой бутылке загнется.

— Давай, — сказал Шлома и сжал до хруста кулаки. — Посмотрим, солдат ты или шерри-бренди.

Шлома уже с утра выпил свою долю и сейчас в душе сомневался, сможет ли он перепить этого здорового парня, но отступить, услышав слово «жид», он не мог. Вся надежда была на то, что и Лешка был уже не первой свежести.

Пацаны, сидевшие с Лешкой, растерянно забегали глазами, но под взглядом Лешки протянули две не начатые бутылки…

— Из горлышка, — сказал Лешка, — или по-жидовски стаканами?

— Из горлышка, так из горлышка, — сказал Шлома.

Он губами вытянул из бутылки пробку, потом одним долгим глотком втянул внутрь всю жидкость, несколько минут смотрел, как Лешка давится рвущимся назад вином, и сказал:

— Следующую.

Её Шлома тоже осилил почти одним глотком. Перед глазами шли круги, ноги становились ватными, но Шлома стоял и смотрел сверху вниз на Лешку, осевшего на траву, так и не допившего первую бутылку. Потом презрительно плюнул и сказал:

— Ну, кто из нас солдат? — и, повернувшись к пацанам, спросил. — Следующую пить или вам оставить?

Пацаны ничего не ответили, а Лешка пьяно прошипел:

— Все равно я погуляю на твоих похоронах…

— Не дождешься, — ответил Шлома и пошел.

Он не помнил, как его привезли знакомые домой, но войдя в дом, пришел в себя и сказал:

— Прости, Перл, перебрал я сегодня. Но ведь День Победы…

С этого дня Лешка Немец старался не попадаться Шломе на глаза: хотя зловещие слова, что он погуляет на Шломовых похоронах, повторял, чуть ли не каждый день, на что Шлома, когда ему передавали эти угрозы, неизменно отвечал, что этого немец не дождется!

Евреи потихоньку уезжали из Краснополья и, в конце концов, остался в Краснополье из евреев один Шлома и приезжий инструктор райкома… И тогда Шлома махнул рукой: вся родня там, не оставаться же одному, и начал собираться к Евсею в Нью-Йорк. Все, что у них было, Шлома не распродавал, а оставил Пашке:

— Бери, Феферка, и пользуйся на здоровье! Голова есть, руки есть, там заработаю!

И с этого начал в Америке жизнь. На удивление всех наотрез отказался оформлять бумаги на пособие по старости.

— Ду бист а мишугинер, — кричала Перла, — ты сумасшедший, самый настоящий, Печерск по тебе плачет! Ему на блюдечке дают доллары, а он не хочет брать! Вы видали когда-нибудь такого дурака?

— Не кричи, — останавливал её Шлома. — Что я сделал для Америки, чтобы брать у неё деньги! Ну, был бы я больной, не приведи Бог, тогда другой разговор! Но у меня же руки есть, ноги есть, и голова совсем неплохо работает.

— Шлома, — объяснял ему Евсей, — парикмахеров здесь, как резаных гусей на Пасху: ешь, не хочу! Разве ты не знаешь мудрые слова: дают деньги — бери! Ты уже там своё отработал! Кому тут нужен парикмахер из задрипаного Краснополья? Здесь в пятьдесят лет трудно найти работу, а тебе уже семьдесят! До ста лет!

— Что вы все раскричались, как куры на крусадне! — отбрил всех Шлома. — Я сказал, что буду работать — и буду! А все ваши разговоры — это шерри-бренди!

— Попрыгает-успокоится, — махнул на него рукой Евсей, а Перла сказала, что если бы знала, что он устроит здесь такие фокусы, то оставила бы его в Краснополье.

Но на удивление всем Шлома нашел работу, и не где-нибудь в Бруклине в русской парикмахерской, а в Манхеттене, у такого же старого, как он сам, итальянца, мистера Бонаверто, в парикмахерской которого стригся едва ли не весь Бродвей. Как на него набрел Шлома, никто не знал, но все знали, что испытывал Шлому мистер Бонаверто на себе!

— Ничего сверхъестественного я ему не сделал, — объяснял Шлома, — обыкновенную полечку с полубоксом сзади. У нас в Краснополье я это делал каждому второму. И в это время к нему заходит этот высокий итальянец из кино. Правда, в кино он высокий, а в жизни нет. Я не помню, как его звать, но этот фильм я видел ещё в Краснополье. Ты помнишь, Перла, как он из русского боксера делал грушу. О, я забылся, ты такие фильмы не смотришь. Так вот этот сеньор

захотел, чтобы я ему сделал такую же полечку, как мистеру Бонаверто! И я ему сделал! И он дал мне тип! Перлочка, ты знаешь, что такое тип? Я так и думал, что ты по-американски знаешь только, что такое асисай! А тип — это по-нашему пару копеек на чай! Так вот он дал мне на чай сто долларов! Ты пила когда-нибудь чай за сто долларов?

Эту историю Перла заставила Шлому рассказывать раз десять: всем своим родственникам, потом Шломиным родственникам, потом соседям, потом знакомым соседей…

— Чтобы знали, что Шлома не хуже их! — объясняла она. — А я на него кричала за асисай! Слава Богу, что он меня не послушался! Он бы этого асисая не выдержал! Он не может без дела сидеть! Слава Богу! Слава Богу! Живем, как первый секретарь райкома. И даже немножко лучше! Дай Бог и дальше так!

Оно и шло дальше так. Но человеческая дорога, как ни крути и ни верти, все равно идет не вверх, а вниз. Как говорил краснопольский раввин, этот поезд у всех в одну сторону.

Первый инфаркт Шлома перенес на ногах, никому ничего не говоря, поскрипело в сердце, и успокоилось. Через год случился второй инфаркт, забрали Шлому ночью из дома, повалялся он дня три в госпитале и опять вернулся на работу.

— Обойдется, — успокоил он Перлу, — все это шерри-бренди, чепуха.

А третий инфаркт случился на работе.

Пришел Шлома в себя на вторые сутки, ночью. В первую минуту он не мог сообразить, где находится, потом его взгляд заскользил по трубочкам, проводам, бутылочкам, бинтам, которыми он был обвешан и обклеен, как новогодняя елка, и он понял, что опять попал в госпиталь.

— Шерри-бренди, — прошептали губы.

Шлома с усилием повернул голову в бок, осматривая палату, и его взгляд неожиданно встретился с взглядом соседа. На соседней кровати лежал Лешка Немец.

— Ты?! — не веря своим глазам, прошептал, едва шевеля губами, Шлома. В этом звуке трудно было что-нибудь разобрать, но Лешка понял…

— Я, — хмыкнул он. — Не ожидал?

— Не ожидал, — признались глаза Шломы.

— На вашей женился и приехал сюда, — усмехнулся Лёшка. — Мне завтра на выписку… Могли и не свидеться. Глазам не поверил, как увидел тебя. Бежал от меня и попался. Сестра, что тебя притащила, сказала, что ты нежилец. День-два — и каюк! А ты говорил, на халтурах твоих не станцую!

— Не дождешься! — глазами сказал Шлома.

И превозмогая боль, сжав зубы, Шлома стал рвать на себе наклейки, провода и бинты. Потом рывком оторвался от подушки, приподнялся и, держась за спинку, сполз с кровати и в с т а л.

Лешка от страха закричал, хотел вскочить и бежать, но ноги не послушались: сердце забилось, как у крысы, увидевшей лапу кота. Оно дёрнулось и… разорвалось.

А Шлома, сделав два шага, так и не дойдя до Лешкиной кровати, рухнул на пол. Он пережил Лешку всего на два дня.

Это были самые счастливые Шломины дни. У него уже не было сил говорить, и он улыбался глазами. Перла все эти дни сидела возле него и плакала. А он мотал головой и показывал глазами, что плакать не надо. А за несколько минут до конца губы его неожиданно зашевелились и он спросил:

— Перла, ты меня слышишь?

— Да! Да! — закричала Перла.

— Не кричи, я, слава Богу, не глухой! Я все слышал и раньше, но не мог сказать. Но сейчас могу. И пока я могу, я хочу тебе, Перл, сказать, что ты напрасно плачешь. Есть из-за чего плакать? Главное, он не дождался! Я ему это говорил там, он не поверил, приехал сюда. И что? Не дождался. И это главное. А все остальное шерри-бренди, чепуха. Все там будем. Пройдет время, встретимся, не волнуйся. Только прошу тебя, не спеши… Не бойся, я там не пропаду. Парикмахеры везде нужны! Конечно, если они хорошие, — он подмигнул Перле, как когда-то в молодости, и закрыл глаза. Навсегда.

Шерри-бренди, шерри-бренди, чепуха…

Скрипка, или Лизавета

Все предки Айзика были балаголами. Айзику эта профессия не досталась, так как балаголы исчезли из быта местечка, но при лошадях он остался. Каждая уважаемая контора в Краснополье имела лошадей, и Айзик работал конюхом в самой уважаемой конторе — в банке. Лошадь нужна была банку для перевозки денег, и посему, Айзик был не только конюхом, но и инкассатором, собирая деньги с маленьких магазинчиков по всему району. Кроме этого он весной и осенью распахивал огороды всем банковским работникам, получая за это пару бутылок дешевого вина. Банковскую лошадь звали Лизавета. Конюшни у банка не было, и Лизавета стояла у Айзика в сарае, в котором еще от деда остался загон для лошади. Никто Айзику за это не доплачивал, и считалось, что так положено. И Айзик не спорил. Ему даже было приятно, что у него во дворе стоит лошадь, как это было у его отца. Жена Айзика Двося не особенно радовалась этому, но молчала: лошади выписывали сено и комбикорм, и от этого кое-что перепадало и корове Айзика. Перепадало не в смысле того, что забирали часть корма от Лизаветы, а в смысле того, что приобретая для лошади корм, Айзик заодно покупал его и для коровы, и эти дефициты доставались ему без хлопот, как всем остальным. Вечером, возвратившись, домой, Айзик распрягал лошадь и оставлял ее на дворе, отдохнуть после рабочего дня: приносил из колодца ведро свежей воды, накладывал в телегу большой ворох сена и на краю телеги клал буханку хлеба, купленную по дороге. Хлеб лошадь брала после воды, и только потом принималась за сено. Сам он садился на крыльцо, скручивал из газеты самокрутку и тоже отдыхал. Табак у него был самый дешевый, и поэтому это был не отдых, а сплошной кашель. Но такое времяпровождение Айзик любил и, пока Двося готовила ужин, он так сидел, смотрел на лошадь, медленно жующую сено, и вспоминал. Вспоминалось разное: и плохое, и хорошее, но всегда эти воспоминания были связаны с лошадьми. То вспоминался отец, сажающий его маленького

верхом на лошадь, то вспоминалась война, переход через Сиваш и усталая лошадь, тянущая их пушку-сорокапятку, а то вспоминалась свадьба и их свадебная бричка, запряженная тройкой лошадей, которых отец одолжил, у прикочевавшего в ту осень в Краснополье цыганского табора… Многое вспоминалось в эти часы Айзику. Двося, у которой ужин был готов еще с утра, не спешила звать Айзика к столу, зная, что эти минуты для него дороже всякой еды. Она ждала, когда он докурит самокрутку, встанет с крыльца, и, потянувшись, как после сна, спросит:

— Двося, ты, наконец, приготовила еду? Или мне пойти на ужин к Хаше? У нее сегодня а бульбэ мит селедке. Я, когда мимо проезжал, она приглашала.

— Обойдемся без Хаши, у нас тоже бульба с селедкою. У нее селедка за пятьдесят копеек, а у нас за рубль! — спокойно отвечала Двося, не обижаясь на мужа, ибо эти слова повторялись ежедневно, и были своеобразным преддверием к ужину.

Хаша когда-то была ее соперницей за сердце Айзика, но это было давно, до войны, и сейчас все разговоры о Хаше были шутками Айзика.

Повторялась это каждый день, и Двося приблизительно знала, когда Айзик подымется с крыльца и окликнет ее. К этому времени она вынимала из печки картошку, чистила селедку и ставила миску со сметаной: обычный ужин Айзика… Но однажды все положенное время прошло, а Айзик продолжал сидеть на крыльце. Докурив одну самокрутку, он делал следующую, докурив и ее, не останавливался, а начинал скручивать новую… Двося, наблюдавшая за ним из окна, не выдержала и сама вышла во двор.

— И что это ты сегодня кушать не идешь? — спросила она. — Может, Хаша тебе блинчики с мукой сделала на ужин?

Айзик молча посмотрел на Двосю и ничего не сказал, продолжая жевать зубами край самокрутки.

— Болит что? — забеспокоилась Двося.

— Болит, — сказал Айзик, не вынимая изо рта самокрутку.

— Что? — спросила Двося.

— Душа, — сказал Айзик

— И из-за чего она у тебя болит? — спросила Двося.

— Машину дали банку, — сказал Айзик и опять замолчал, отрешено глядя на Лизавету.

— Ну и что? — спросила Двося и добавила: — Говори уже, что случилось! С тебя слово вытянуть, все равно, что от козла молока надоить! Говори!

— Райкомовского «козла» нашему банку дали, а им «Волгу» прислали, — сказал Айзик.

— Я это уже второй раз слышу, про машину, — сказала Двося.

— И ничего не понимаешь?! — удивился Айзик.

— Нет, — сказала Двося.

— А бабэсэ коп! — сказал Айзик. — Бабья голова!

— Хорошо, — сказала Двося. — Я — а мишугинэ! Так объясни умный дураку!

— Лизавету от нас забирают! — сказал Айзик. — Завтра ее в Могилев на мясокомбинат надо отвезти. Райпотребсоюз туда машину за колбасой посылает, и на ней надо мне завести Лизавету.

— А глог цу мир! — ойкнула Двося и растеряно посмотрела на Айзика.

Лизавета, услышав свое имя, оторвала голову от сена и вопрошающе посмотрела на Айзика. И Айзик посмотрел на лошадь.

— Два раза она меня от смерти спасала: от волков мы с ней ушли из-под Пильни, километров двадцать за нами гнались и дальше б пошли, да Федька-тракторист на тракторе их испугал, возле Ясенки. Бок ей разодрали, а ушла. А потом от бандитов спасла. Еле живого домой привезла. Думал тогда, что умру: не надеялся выжить. А подняли врачи. Пузенков говорил, полчаса опоздал бы, и кровь вся ушла бы! Я не помню, как ехал, без сознания был, а она привезла! — Айзик мокрыми глазами посмотрел на Двосю и сказал: — А ты про ужин говоришь?

— А может, купим Лизавету, — сказала Двося.

— Думал я про это, — сказал Айзик и вздохнул. — А деньги где возьмем? Двух сотен, что в подушке лежат, не хватит!

— Тебе же управляющий обещал дать кредит на ремонт крыши, — сказала Двося, — так возьми! А мы со старою крышею проживем! Не привыкать тазы ставить.

— А я и не подумал! — обрадовался Айзик. — А бабэсэ коп, а клутэ коп! Бабья голова — умная голова! — он ожил, засуетился и сразу стал собираться к управляющему.

— Ночь на дворе, — растерялась Двося. — Может, завтра с утра поговоришь с ним!

— Пока завтра ждать, можно штаны потерять! — сказал повеселевший Айзик и побежал к Моисею Семеновичу, который жил на другом конце Краснополья.

В тот вечер вопрос сразу не решился, Моисей Семенович сказал, что подумает, и ночь Айзик провел в тревоге, но утром Лизавету не отправили в Могилев. Потом Айзик еще целый месяц ходил по всяким начальникам, так как Моисей Семенович сам ни на что не решался, и неизвестно чем бы это дело кончилось, если бы, в конце концов, приехавший из области заместитель управляющего областным банком не сказал, что Айзик заслуженный работник и нечего городить огород на пустом месте, и велел вручить ему подарок за его труд на пользу банковского дела — лошадь Лизавету!

— А гой, бат а гутэр мэн! — говорил о нем Айзик. — Не еврей, а хороший человек.

А вспоминая управляющего, махал рукой и говорил:

— Чтоб он на что-то решился, волк в лесу должен издохнуть!

— Не кричи, — заступалась за управляющего Двося. — Слава Богу, что хоть не отправил сразу Лизавету! А за Ивана Даниловича молиться буду!

— И детям накажу, — добавлял Айзик.

Успокоенный после борьбы за Лизавету, Айзик думал, что все его заботы кончились, и он сможет дожить с Двосей

свой век в спокойствии. Но жизнь, как мешок в дырках, одну залатаешь, из другой сыпется. Открылась Америка и там одним из первых оказался Айзика брат Бенема, который туда уехал из Гомеля. И ниточка потянула за веревочку. Айзика дочка Соня прикатила из Костюковичей с криком:

— Папа, надо собираться! Все едут!

И опять возник вопрос с лошадью.

— А куда Лизавету мы денем? — сказал Айзик. — Без нее никуда не поеду!

— Хорошо, мы закажем ей пароход! — фыркнула Соня и сказала: — Что ты говоришь, папа? Куда ты поедешь с лошадью?!

— Не делайте из меня сумасшедшего, киндерлах, — сказал Айзик. — Пока жива Лизавета, я буду здесь! И больше на эту тему не будем говорить!

Лизавета к этому времени постарела. Айзик уже не запрягал ее в телегу, и она, как и он, вела тихую пенсионную жизнь. Утром Айзик вел ее на край местечка, на ничейный лужок за Филипповым домом, вечером забирал, и это стало для него незаменимым ежедневным ритуалом. И ничего в своей жизни он не хотел менять.

Но наступление не прекращалось: все требовали сдать куда-нибудь Лизавету и ехать. С Костюковичей стал приезжать каждую неделю зять Додик, который раньше приезжал в Краснополье только на большие праздники, и разговоры в доме шли только об Америке. Даже Двося перешла на сторону детей и говорила, что Лизавету оставит знакомым, которые будут за ней смотреть, как за родной.

— И только мы скроемся с глаз, отдадут ее на мясокомбинат! — не соглашался с ее доводами Айзик. — Кому это надо — старая лошадь?!

— Ее по старости не возьмут на мясо, — замечал зять.

Время шло, все потихоньку уезжали, а Айзик оставался на месте.

— Внуков хотя бы пожалел, — бурчала Двося. — Извелись все!

— Не станет Лизаветы, тогда и поедем, — говорил Айзик. — Не убежит ваша Америка!

— Что-то надо делать с твоим папашей, — говорил каждый раз Додик, возвращаясь от тестя.

— А что сделаешь? — разводила руками Соня. — Надо ждать. Лизавета не вечная.

— Нас переживет! — бурчал Додик. — И вообще, Америку могут закрыть! Все поговаривают уже про это. Или ваш дядя умрет, и тогда вообще не к кому будет ехать! В каждом письме пишет, что болеет!

— Папу не переубедишь, — безнадежно говорила Соня. — Он на этой лошади помешался.

Эта проблема не давала им покоя, и они делились ею со всеми, прося совета, и получили его неожиданно от железнодорожника, любителя-охотника, живущего в их доме. Они не то, чтобы дружили, но знались: если куда надо было подъехать, он доставал им билеты, время от времени подбрасывал их на своем «Москвиче» на рынок, изредка продавал им зайчатину и часто перехватывал деньги до зарплаты.

— Додик, — сказал он, — не строй проблему на пустом месте. Застрели эту клячу — и все!

— Какой из меня стрелок?! — сказал Додик. — Я в армии ни разу не стрелял: в стройбате служил. Это ты охотник! Может, поможешь?

Железнодорожник подумал и сказал:

— Подари мне «Зауэр»! Всего за двести рублей отдают, и я уберу твою проблему.

— А что это «Зауэр»? — спросил Додик.

— Ружье немецкое, — сказал он. — Вадик Перлин из комунхоза уезжает в Израиль и продает. Считай, бесплатно. В хорошее время семьсот стоит. И не достанешь.

И Додик купил…

Лизавету застрелили днем, в будний день, когда она спокойно паслась на лугу за Филипповым домами… Вокруг никого не было. Филипповым домом называли развалины бывшей помещичьей усадьбы. По вечерам и в выходные там играли дети, но в средине дня, в будни, их там не было.

Ближайшие дома были сравнительно далеко от этого места, и если кто в них был, то глухие старики. И выстрела никто не слышал.

Выстрел был меткий, охотничий, в ухо. Но в милиции решили, что баловались с ружьем дети. И никто никого не искал.

После гибели лошади Айзик как-то сразу сдал, постарел на глазах: поседел, сгорбился, стал заговариваться и забываться, а потом вообще перестал говорить, издавая вместо слов непонятное бормотание.

Боясь за здоровье Айзика, Додик ежедневно звонил в Нью-Йорк дяде Бенеме и метался между Краснопольем и Москвой, пытаясь ускорить отъезд. Что-то куда-то писал, что-то кому-то объяснял, и через несколько месяцев они улетели в Америку.

Айзик на все хлопоты с отъездом не обращал никакого внимания, но послушно делал все, что его просили. Во время перелета он ни на минуту не вздремнул, сидел, о чем-то сосредоточенно думая, потом пытался что-то спросить у Двоси, но она ничего не поняла в его бормотании, и он, безнадежно махнув рукой, замолчал. Он молча вышел из самолета и так же молча сидел во время оформления документов, и только выйдя в зал ожидания и увидев в толпе брата, вдруг, неожиданно для всех, побежал ему навстречу и закричал громко и отчетливо, пугая зал:

— Бенема, а лошади в Америке есть?

— Есть, — закричал в ответ ему Бенема и… заплакал.

Гобой, или Пая

У бабушки были две сестры и брат. Ее старшую сестру Фейгу и брата Рувела я знал с самого детства, ибо они часто бывали у нас дома. Фейга жила, как и бабушка, в Краснополье, а Рувел, хоть и жил в Кричеве, но почти каждое воскресенье приезжал в Краснополье на базар. И только младшую бабушкину сестру Паю я впервые увидел, когда мне исполни-

лось тринадцать лет, потому что жила она за тридевять земель от Краснополья, в Пензе, и никогда не приезжала в Краснополье до этого. Правда, письма от нее приходили часто, и я, как только научился читать, читал их бабушке. Бабушка по-русски читать не могла, да и по-еврейски тоже, потому что успела поучиться в хедере всего один год, а потом все еврейские школы закрылись, и она никуда уже не пошла учиться дальше.

Письма были длинные, не все мне в них было понятно, но бабушка часто разговаривала со мной о Пае, и, в конце концов, я знал о ней больше, чем о Фейге и Рувеле. Говоря о Пае, бабушка всегда тяжело вздыхала, а иногда утирала слезу. Письма Пая писала только бабушке и это, как я заметил, злило Фейгу. Пробежав Паино письмо глазами, Фейга сразу начинала ругать Паю.

— Ну, дура, настоящая дура! — заводилась она. — Знает его без году неделя и готова: влюбилась! Понимаю: первый раз, с кем не случается! Но Пае не восемнадцать лет, слава Богу, двух мужей сменила — и все не научилась жить!

— Но она же их любила, и они ее, — заступалась за Паю бабушка, — она же не виновата, что такая несчастная у нее судьба.

— Все виноваты, только не она!? — перебивала бабушку Фейга. — Уши ее ничего не слышали, глаза ничего не видели. А сама же пишет: у него палец торчит из порванного носка!? И она его за это жалеет? Где еще найдешь такую дуру! Экскурсовод в музее — большая фигура, на носки денег не хватает. И ты ее еще защищаешь?!

— Может, он и вправду хороший человек, — осторожно возражала бабушка, — не в деньгах счастье.

— Вос ду зогст! Что ты говоришь! — кричала Фейга и, хлопнув дверью, буквально выскакивала от нас.

Когда она уходила, бабушка еще долго не успокаивалась и уже со мной, молчаливым слушателем, переваривала очередное Паино сообщение.

— Она еще права, — обижалась она на Фейгу, — Степу Пая из-за нее потеряла. Может, жизнь Паи совсем по-другому пошла бы, если бы с начала иной была…

Первый раз замуж Пая вышла совсем молоденькой, в шестнадцать лет, влюбившись в инструктора райкома, которого прислали в Краснополье из Климовичей. Как рассказывала бабушка, был он высокий, вихрастый, русоволосый и голубоглазый. Приехал он в Краснополье с маленьким чемоданчиком в одной руке и большим глобусом в другой. В Краснополье раньше таких не было. Все краснопольские девчата были влюблены в него, и только Пая не обращала на него никакого внимания. Жил он на квартире у Рониаптекарщицы. Ни с кем он не водил в Краснополье дружбу, и Роня ничего не могла о нем сказать, так как он приходил на квартиру только ночевать, уходя рано и приходя поздно, а столовался он или в райкомовском буфете, или в чайной напротив райисполкома. В этой чайной он и познакомился с Паей, которая подрабатывала там, то на кухне, то официанткой, вместо уходящих в отпуск работниц. Как говорила бабушка, эту работу ей устраивала по блату Фейга, которая работала заведующей этой самой чайной.

— И из-за чего, ты думаешь, она влюбилась в Степу? — рассказывала бабушка. — Потому что пожалела его, одинокого, неустроенного, с выбритыми до синевы щеками. Я помню, как она мне говорила: ты бы видела, Рахиля, как он кушает: до блеска корочкой хлеба тарелку вычищает! Разве можно быть сытым от столовского супа?! Потом, когда они уже поженились, Пая узнала, что привычка у Степы не оставлять попусту еду — с детства, родился он в бедной семье, в голодный год, один из семерых детей выжил. В детстве мечтал быть путешественником, а стал инструктором райкома. Правда, после школы попытался осуществить свою мечту и поступил в педагогический на географа, но окончить институт ему не дали, понадобился с такой биографией человек в горком комсомола, и его перевели на заочный. Поработав немного в комсомоле в Климовичах, его перебросили в Краснополье, но уже в райком партии. Свадьбу отгуляли в той же чайной, где Пая познакомилась со Степой. Свадьба была маленькая, неприметная: Паина мишпоха — пять человек, несколько райкомовцев и Степкин друг, прие-

хавший по этому поводу со Степкиной деревни. Родители Степы не приехали, а со Степиным другом передали корзину яичек и телёнка. «Хотели сначала порося дать, — сказал Степин друг, — а потом наш зоотехник сказал, что евреи свинину не едят, он где-то читал про это, ну и дали теленка». Друг Степы долго удивлялся, что Степан взял евреечку, но потом, выпив, сказал, что евреи тоже люди. И даже хорошие люди! И вспомнил Кагановича.

Бабушка долго смеялась, вспоминая про это, а потом сказала:

— А он прав — все мы люди. И я тебе скажу, зуналэ, если бы Пая с ним осталась, счастливее её не было бы никого на свете. Они друг над другом тряслись, как Хая над хрусталем. Он вошел в нашу семью, как будто мы его сто лет знали. Я при нем по-еврейски говорила, он ничего не понимал, но кивал головой, как будто ему все понятно. Такого шейгаца я бы не променяла на еврея, особенно если этот еврей Берл. Кстати, с Берла все и началось. Где-то затевалась большая стройка. И этой стройке понадобились землемеры. А в Краснополье было только два землемера — Берл и Ноня, муж Фейги. И этот Берл откуда-то узнал, что от Краснополья нужен один землемер. И он в ту же минуту настрочил мегилу куда надо, что гражданин Ноня троцкист. Мы узнали об этом письме потом, когда Степа добивался правды. А Ноню забрали в тот же вечер, когда получили письмо Берла. И в тот же вечер направили его по этапу на эту великую стройку: три года без права переписки. Они, видно, постановили эту стройку закончить за три года. Фейга стала рвать на себе волосы, а потом побежала к Степе. Степочка, ты райкомовский работник, помоги! И Стёпа стал помогать. Куда-то писал, куда-то ездил, куда-то стучался и достучался. Его тоже забрали. И не только его, но и Паю. Степана застрелили при попытке к бегству, как сообщили Пае, а её послали на два года на поселение куда-то под Пензу.

— Я понимаю, почему Степа бежал, — пояснила мне бабушка, — Он хотел увидеть Паю.

Ноня после окончания стройки вернулся в Краснополье, а Пая, отбыв срок на поселении, перебралась в Пензу и оста-

лась там жить, устроившись уборщицей в музее… Выделили ей для жилья крохотную комнатенку в общежитии с общей кухней в коридоре.

Второго мужа Паи бабушка никогда не видела и знала о нем только по письмам Паи. Звали его Франц. Был он беженцам из Австрии. Как писала Пая, был он тощий, как лошадь дяди Меера, одни ребра торчат. Родом он был из Вены, там работал врачом. А здесь работал в каком-то антифашистском комитете. Про его нынешнюю работу Пая ничего не писала, а про его прошлую жизнь вспоминала часто. Видно, говорили они больше о прошлом, чем о настоящем. Там он был большим человеком, писала Пая, был другом и учеником Шломы Фрейда. У него лечились графини. Представляете, восторгалась Пая, настоящие графини! Франца Пая называла в письмах Фроней, как сына дяди Арона. В письмах она старалась передать нам рассказы Франца, чтобы мы тоже восхищались им. Кто такой этот Шлома, мы с бабушкой не знали. Наверное, большой еврейский врач, говорила бабушка, как наш Пузенков. Потом уже взрослым я узнал о Зигмунде Фрейде, но о том, что его звали по-настоящему Шлома, узнал только сейчас, когда давно нет ни бабушки, ни Паи, ни её писем… Как бабушка говорила, Фроня был, конечно, не Степа: Степа был рядом с Паей, а этот возвышался над Паей, но Пае было с ним тоже хорошо. Но и это счастье длилось недолго. В первый день войны за ним приехали, это не похоже было на арест, просто приехали двое незнакомых Пае людей, они о чем-то с ним поговорили по-немецки, а потом он собрался, поцеловал на прощание Паю, сказал, что уходит на фронт, и больше Пая ничего никогда о нем не слышала. Она его долго ждала после войны, хотя за все годы не получила ни одной весточки…

А потом у неё появился Фима. Он работал экскурсоводом в Тарханах. Не было у него ни кола, ни двора, ночевал он в музее, питался всухомятку, и что больше всего поразила Паю, за месяц ни разу не поел супа! Разве можно так жить! Родом он был из Москвы, там жила его первая жена. И дочка. Они его не поняли, сокрушалась Пая, рассказывая

о его судьбе. Он их любит, а они его нет! Если бы любили, то поняли бы, что он не такой, как все. Он как ешива-бохер, писала Пая, только у ешивы-бохера — главное Тора, а у Фимы книжки со стихами. Ну, такой же был наш дедушка Авром. Кроме Торы он ничего не знал и ничего не умел. Но его же все евреи в Краснополье уважали. А бабушка Цырул почитала его, как виленского Ребе!

— Почитать почитала, — вздохнула бабушка, прочитав эти строки в Паином письме, — только счастья не знала. Не дай Б-г нашей Пае такую жизнь!

Прочитанные Фимой стихи Пая запоминала и часто приводила их в письмах к бабушке. Я раньше помнил их все, а теперь иногда вспоминаю только четыре строчки:

У излучин бледной Леты,
Где неверный бродит день,
Льются призрачные светы,
Веет трепетная тень…

Может, припоминаются эти строчки потому, что тогда меня очень поразили эти непонятные светы и леты… Фима не был рядом с Паей, он не возвышался над Паей, он был где-то сбоку. Так определили мы с бабушкой. Он жил своей жизнью, и Пая не мешала ему так жить.

Вообще, все было, как всегда, Пая стала ему помогать по своей доброте, а потом влюбилась. Бабушке не нравилась эта восторженность Паи Фимой, но она об этом говорила только мне, а перед всеми защищала Паину любовь.

— Кто ее знает, — говорила бабушка, — может, Пае надо кем-то восторгаться и кого-то жалеть — и в этом её счастье. Готуню все видит и все знает, и все время посылает ей каких-то необыкновенных людей! Но дай ей это, Готуню, в последний раз! Надо остановиться!

Но видно, где-то там было написано, что это еще не остановка. Хотя бабушкину просьбу об обыкновенных людях учли…

Фима исчез, как и все предыдущие Паины мужья: за ним приехали. Приехала из Москвы дочка. Пая наготовила им еды и, чтобы не мешать их разговору, ушла из дома к подруге с ночлегом, а когда назавтра вернулась, Фимы уже дома не было. А на столе лежал листок из отрывного календаря, на котором Фима написал всего два слова: Прощай и извини! И осталась Пая опять одна.

И может быть, она прожила бы всю оставшуюся жизнь одна, в Пензе, и я бы её никогда не увидел, но в жизни беды не ходят в одиночку, не успел исчезнуть Фима, как в музей пришла бумага на сокращение штатов и, конечно, уволили уборщицу Паю. Оставшись без работы, она еще пару месяцев пыталась что-то найти, а потом вдруг неожиданно затосковала по Краснополью, по родным, которых не видела, бог знает сколько лет, и, сдав квартиру и собрав вещи, которых было у неё всего на один чемодан, подалась в Краснополье. До Кричева она доехала поездом, а там её встретил брат Рувим и привез к нам. Я представлял ее похожей на бабушку, но она была совсем другой: высокая, статная, величавая, городская и совсем не старая. Говорила она на чистом русском языке, на котором у нас в Краснополье вообще никто не говорил. Привезла она мне удивительные подарки: глобус, немецкие часы и книжку стихов, как будто в память о своих мужьях.

Появившись в нашем доме, она как-то непроизвольно изменила весь наш уклад. Она ни минуты не сидела без дела и на все бабушкины уговоры посидеть и отдохнуть говорила, что это не для неё. С утра она начинала готовить, не подпуская бабушку к кухне. Готовила она удивительные блюда, которые я раньше никогда не ел, при этом все было из самых дешевых продуктов, которые мы раньше никогда не покупали.

— Голь на выдумку хитра, — говорила Пая. — Я всю жизнь только то, что подешевле, покупаю, — объясняла она бабушке и, смеясь, говорила. — Вот и научилась из дрэк марципаны делать…

И вправду, все её кушанья были удивительно вкусные. Я по сей день помню вкус блюда, которое Пая делала из овечьих кишок, которые мы раньше выбрасывали, и картошки. Пая называла это блюдо грайжиком, и я по сей день ищу рецепт этого блюда в поваренных книгах и не нахожу…

И еще Пая пела еврейские песни. Что бы она ни делала по дому, она всегда при этом пела, и её звонкий голос был слышен не только в доме, но и на улице. До этого я никогда в Краснополье не слышал, чтобы кто-то так громко пел еврейские песни, не то было время, хотя изредка дедушка приносил пластинку с еврейскими песнями, и мы их слушали на стареньком патефоне, предварительно закрыв все окна и двери и сделав звук чуть слышным.

— Вос ду тутс, что ты делаешь? — пыталась остановить ее пение бабушка. — Не дай Б-г, тебя опять заберут! Если тебе хочется петь, пой русскую песню.

— А я хочу фрейлахс! — отвечала Пая и начинала еще громче петь.

А потом резко, на полуслове, обрывала песню и тихо говорила:

— А Степа любил, когда я пела… Может, и там он слышит, как я пою… Говорят, они там все слышат… Мне это Фроня говорил.

Прожила Пая у нас где-то месяца два, а потом неожиданно сказала:

— Мне у вас, конечно, хорошо, но надо свою жизнь строить. Надо ехать…

— Куда ты поедешь, — сказала бабушка, — у тебя же нигде никого нет. Не думай, что ты нам лишняя. Где пятерым хватает, там и шестому место будет!

Мы все стали уговаривать ее остаться, и тут неожиданно ее поддержал Рувим.

— Что ей делать в Краснополье!? Ни работы, ни семьи. А у нас в Кричеве есть хороший человек. Уже пять лет, как вдовец. Мне его дочка как-то говорила: нет ли у нас в Краснополье хорошей женщины для него. Я и подумал про тебя,

Пая. Будешь в масле купаться, он всю жизнь проработал заготовителем! Я тебе честно скажу, богаче его в Кричеве никого нет!

Когда бабушка заикнулась про возраст жениха, Рувим оборвал её на полуслове:

— Пае надо свой угол найти. А ты майсу про возраст разводишь. Пае его годы на себе не носить! И сама не молодка.

И Пая уехала в Кричев. Зусл, Паин новый муж, был старше её лет на двадцать с гаком, и Пая стала нянькой для него и его внуков. Бабушка один раз съездила к ней и потом долго плакала, вернувшись.

— Ты знаешь, — сказала она, утерев слезы. — Паечка угостить меня даже не смогла. Её Зусл все продукты под замком держит, не дай Б-г, Пая лишний кусок возьмет! А сам под себя ходит! И в придачу, пятеро внучат на ее плечах! Бесплатная нянечка за кусок хлеба и за крышу над головой! Говорила я ей, бросай всё, возвращайся, так не хочет слушать! Она его уже жалеет! Есть там кого жалеть!? Они ей там даже петь не разрешают: мешает Зуслу дремать… А Рувимчику я устроила хорошую жизнь! Все ему высказала. И что ты думаешь, он мне говорит: Зуслова Кларочка — его начальница. Вот он и устроил ей преданную нянечку!

Писем с Кричева Пая нам не писала, только передавала приветы с Рувимом, который никогда ничего нового о Пае не рассказывал и все разговоры сводил к тому, что богаче Зусла в Кричеве никого нет.

Я Паю увидел года через четыре. Ехал поступать в институт, в Кричеве у меня была пересадка и два часа свободных, и я зашёл к Пае. У нее все было по-старому: Зусл сидел в кресле, продукты были под замком, а она крутилась на огороде. Там мы с ней и поговорили.

— Я бы тебя в дом пригласила, но там Вовочка спит, от каждого шороха просыпается. Два месяца всего. Правнучек Зуси. Проснется — начнет капризничать, Зуся будет нервничать, а ему нельзя. У него сердце плохое. — Пая вздохну-

ла и вдруг неожиданно сказала, — Зуся совсем плох. По ночам задыхается. Куда я подамся, если он умрет… Я же с ним не записана…

— К нам переедешь, — успокоил я её, — будешь опять еврейские песни петь. И мой любимый грайжик сваришь…

Она вымучено улыбнулась и ничего не ответила.

Больше я её не видел. Через полгода она умерла. Пришла из бани, прилегла впервые в жизни днем на диване и не проснулась. А Зусл, как рассказывал Рувим, женился вновь.

ПТИЦА, СПУСТИВШАЯСЯ НА ПРОГУЛКУ

Маленький роман

Приходит время,
когда мы все хотим начать
новую жизнь.
Роберт Пенн Уоррен

Птица, спустившаяся на Прогулку —
Не знала, что я видела…
Эмили Дикинсон

1

Дайте срок всю правду вам
Про себя скажу я сам!
Н. А. Некрасов

Сегодня с утра дождь. И желающих прокатиться по Мичигану на катере нет. И мы можем поговорить, мистер Баскин, про жизнь. Мне мама рассказывала, что мой папа любил говорить про жизнь. Но он в разговорах мечтал о будущем, а мне всегда хочется поговорить о прошлом. Иногда так хочется высказать кому-нибудь о том, что на душе, а рядом никого нет. И я начинаю, как сумасшедший, разговаривать с собакой. И Пит слушает. Он знает всю мою жизнь, от начала и до конца.

Моего отца в Краснополье все звали Гриша-матрос, хотя матросом он никогда не был. Всю жизнь он проработал механиком в МТС, и море он видел один раз в жизни, во время войны, когда пехотинцем сражался за Севасто-

поль. И кто знает, почему полюбилось море простому еврейскому парню из местечка, в котором даже не было настоящей речки, а так себе ручеек возле сушильного завода, который я в детстве мог перейти пешком с одного берега на другой. Как рассказывала мама, папа всё время мечтал уехать к морю.

— Устроюсь матросом на пароход, механики им всегда нужны, — часто говорил он маме, — и заживём мы там кум королю! Купим домик у моря, чтобы ты из окна могла видеть, как я возвращаюсь из плаванья!

Носил папа всегда тельняшку и искренне радовался, когда его называли матросом.

— Он был счастлив от этого, — говорила мне мама.

И ещё он мечтал иметь сына и очень хотел, чтобы сын полюбил море, как он. Я думаю, что мы бы понравились друг другу, но нам не довелось встретиться. Я родился в день смерти Сталина, где-то под утро, и папа всю ночь, дежуривший у роддома, ошалевший от счастья, что у него родился сын, бросился в пляс, а потом с криком «Ура!» побежал по сонным улицам Краснополья, возвещая о рождении первенца. Но радость его была слишком короткой: от роддома до Советской улицы, на которой находилась милиция и жили мы. Стражи порядка, наверное, ошалели, увидев пляшущего человека в трагический для родины час, и попытались задержать папу, совсем рядом с нашим домом, но он, не поняв, что они от него хотят и, причём тут товарищ Сталин, поняв только, что они его хотят остановить, вырвался и побежал в сторону райкома и тогда милиционеры застрелили его, как врага народа, радующегося смерти товарища Иосифа Виссарионовича.

Вот так началась моя жизнь. Мама назвала меня по папе — Гришам, хотя папа мечтал назвать меня Нахимам. И вы знаете в честь кого? Никогда не догадаетесь. В честь адмирала Нахимова. Папа считал адмирала Нахимова евреем, и в первый же день знакомства с мамой, вместо того, чтобы говорить с ней о любви, поделился с ней своим великим открытием.

— Понимаешь, Цыля, это и дураку понятно: Нохем, Нахем, Нахим, Нахимов. А они сделали его русским! Но кому это скажешь в наше время?

Мама часто рассказывала мне о папе, рассказы эти были настолько подробные, что сейчас мне иногда кажется, что я знал папу живым. Кроме мамы, мне больше никто о папе не рассказывал: родни у нас, можно сказать, не было: был папин брат, но его жена не разрешала ему дружить с нами, когда папа был жив, а когда его не стало, мы, вообще, стали как чужие. Мама рассказывала, что вся сора произошла из-за неё: папа, вернувшись с фронта, поселился у брата, и его жена Хая решила засватать папу за свою двоюродную сестру Броню, но тут папе на глаза попалась моя мама и всё пошло не по Хайкиному плану. Кстати, я вам хочу сказать, что сам папин брат мучился такими отношениями между нами, и перед моим отъездом в Америку, он сказал мне об этом и плакал, вспоминая папу. Хаи уже к этому времени не было в живых, дети уехали в Израиль, и дядя Зелик жил один. Работал он всю жизнь в Краснополье парикмахером и всегда, несмотря на разобщенность наших семей, постригал меня бесплатно и иногда давал рубль на кино.

— Бери, — говорил он, — моя Хайка никогда не знает, сколько у меня в кармане денег. А зарплату я ей отдаю!

Была ещё одна у нас родня, да и сейчас есть, это мамина сестра Голда. Жила она тогда в Саратове, замужем была за нквэдистом, и мама ей почти ни о чём не писала, обменивались они короткими письмами типа «жив, здоров, целую, Петров» и всё. Я как-то пытался расспросить про неё у мамы, но мама ничего мне не рассказала, сказав только:

— Не в наших Голда пошла! Пусть будет счастлива, не я ей судья.

Позже, я как-то случайно, от соседей узнал, что Голдин муж работал раньше в Краснополье и пересадил здесь не один десяток людей.

После своего замужества Голда никогда не была в Краснополье, не приехала она и на мамины похороны, хотя ей дали телеграмму, но скажу вслед за мамой, не буду ей судьёй, всё — таки в Америку я приехал благодаря ней.

Но всё это было потом, а вначале было детство. Рос я тихим мечтательным ребёнком, главной радостью которого были книги. Мама говорила, что дай Гришеньке книгу, и он забудется, кушал он сегодня или нет. Я часто болел и, как говорил наш краснопольский врач Пузенков маме, у вас не мальчик, а пособие по педиатрии. И поэтому мама очень волновалась всегда за меня и как могла, оберегала от всех трудностей и забот, беря их на себя. Мне часто приходилось слышать слова о том, что в детстве надо приучать ребёнка к трудностям. Но я вам скажу, что это не всегда так и может быть чаще не так. Я думаю, что Набоков очень умно сказал: дайте ребёнку радость сейчас, когда вы можете её дать, ибо кто знает, что его ждёт в будущей жизни и принесёт ли кто-нибудь ему потом радость?

Об этом мне говорил и старый индеец Айра, бывший хозяин этого судёнышка и мой друг: жар костров, у которых мы грелись в детстве, согревает наши кости в старости.

После школы я поступил в радиотехнический институт, поступил не, потому что мне это нравилось, а потому что мама считала, что это хорошая профессия, работать буду всегда в городе и, вообще, эта работа легче, чем работа инженера-машиностроителя и тем более учителя. Я говорю тем более, потому что мама эту профессию знала не понаслышке, сама всю жизнь проработала учительницей немецкого языка. Успокоившись с моим образованием, мама отыскала новую проблему: стала подыскивать мне невесту.

Как водится, в наших еврейских семьях, она стала перебирать всех своих знакомых, у кого были на выданье дочки, и остановилась на своей школьной подруге, которая к этому времени жила в Осиповичах.

— Гриша, — сказала мне мама, — а что если тебя познакомить с Сониной дочкой? Я её как-то видела, ашэйне мэйдале! И специальность у неё хорошая, она в этом году поступила в Могилёве, в технологический на общественное питание: всегда будешь с блинцами, как говорила наша бабушка! Ну, как ты на это смотришь?

— Никак, — честно признался я, вложив в это слово полное отрицание встречи.

— Никак — это значит не против, — поняла по-своему мои слова мама и сказала так, как будто всё это дело зависело только от неё. — Я поговорю с её дедушкой, и потом ты подъедешь на выходные к ним в Осиповичи, это же рядом с Минском, и познакомитесь. Что ты теряешь?

— Ничего, — ответил я, в душе надеясь, что ничего из этого знакомства не получится.

И я вам скажу, так оно и вышло: ничего не получилось из этого знакомства. Но оно увело из-под ног моих палубу, повернуло мою судьбу из зюйд-веста на норд-вест. И все, потому что я влюбился в Любу, так звали эту девочку, а она в меня нет. Влюбился с первого взгляда, неожиданно для себя и потом долго и мучительно избавлялся от этой любви. Писал ей письма, она не отвечала, звонил ей, телефон брали её мама или брат и говорили всегда одинаково, что Любочки нет дома.

А потом её дедушка Моня — Анэмес, как его звали в Краснополье за абсолютную искренность, сказал моей маме:

— Они не хотят. Соня говорит, что у вашего Гриши какой-то болезненный вид. Когда он у них был, он почти ничего не ел и не пил и, как говорит моя Соня, подуешь на него, и он упадёт. А я вам скажу, честно, мне ваш сын нравится, и я им сказал, попробуйте, найдите лучшего бохера! Но они разве меня слушают?

Когда мне мама рассказала про этот разговор, я очень расстроился, долго переживал и в конце концов, как последний дурак, решил доказать ИМ, что я и не слабый, и не больной… Маме я ничего не сказал про свои глупые замыслы и сейчас я виню себя за это, ибо она остановила бы мой детский порыв, но тогда идея охватила меня, и я больше ни о чём не думал. Только вперед, как говорил капитан Гаттерас. И вы знаете, какой способ я избрал для доказательства? Как мне сказал Айра, старый индеец — чиппевайи, я из древесных людей, неся тепло другому, они сгорают сами.

— Риша, — говорил он мне, — с тобою хорошо, но поверь старому Айре, глаза которого видели многое и уши которого слышали не меньше, ты последний из этого племени, в жизни никому ничего не докажешь, если будешь всё время всё доказывать на себе. Будь немножко другим.

Но я не могу быть другим. Когда я был у Любы, её брат гордо рассказывал, как ему удалось отвертеться от армии.

— Что мы только не делали, — говорила его мама, — но теперь, слава Богу, всё позади. Наш Наумчик такой слабый!

Науму позволено было быть слабым, а мне нет. И поэтому доказательством своей силы я выбрал армию. Я не пошёл сдавать летнюю сессию, сам пошёл в военкомат, хотя до призыва мог ждать до осени, напросился в подводники, и ушёл на дно… Попал на атомную подлодку и почти на год ушёл в плаванье… Первый раз в жизни мама осталась на такой большой срок без меня, и даже без вестей от меня, и она не перенесла всего этого и умерла, не дождавшись моего возвращения. Как рассказывали мне соседи, она таяла на глазах и в последние дни была похожа на скелет. Всё время ходила в военкомат и спрашивала обо мне.

Когда я получил первый отпуск и поехал в Краснополье, там меня уже никто не ждал. Я долго стоял у маминой могилы и просил у неё прощения. Я знаю, если бы она была жива, она простила бы меня, но теперь мне никогда не получить этого прощения, и эта моя вина будет со мной до последних моих дней… Лишь одно есть у меня оправдание — то, что я стал моряком, как хотел мой отец.

Мой отпуск был длиною всего в неделю, но я успел поставить маме памятник и даже остались сутки, чтобы заехать в Осиповичи: я не надеялся ни на что, я не получил ни одного письма от Любы за два года службы, но мне очень хотелось увидеть её. Я скажу вам честно, в мой первый армейский год я часто видел во сне Любу и никогда не видел маму. В Могилеве я взял билет на Осиповичи и, когда оставалось до отъезда буквально несколько минут, столкнулся на вокзале с Любиным дядей, бывшим прокурором, и узнал от него, что Люба вышла замуж уже полгода назад. И ещё он сказал, что читал мои письма к ней.

— Софа была у нас перед свадьбой, выбирали наряды, и Любочка нам их читала. Гриша, ты настоящий талант! Так писать может только писатель, я пишу здесь в газету коечто из юриспруденции и знаю, что такое хорошее слово, — сказал он и добавил, похлопав меня по плечу, — а Наумчик сказал, что меняет в твоих письмах имя и шлёт своей Белке и та говорит, что он Пушкин! Эту Белку, как и Любочке мужа, нашла им моя Клара. Она тут на старости лет стала бесплатной свахой. Если хочешь, она и тебя познакомит. Ну, как?

Я ему ничего не ответил. В Осиповичи я, конечно, в тот день не поехал, полдня походил по Могилёву и ночным московским уехал назад, в Мурманск. А Люба не ушла с моих снов, только сны стали похожи на фантазии Эдгара По: сдвигались под давлением воды стены кубрика, взрывался реактор корабля, хищные акулы дырявили бок лодки и среди этого кошмара, спокойно и безмятежно гуляла Люба, как будто не замечала этого. И я кричал, пытаясь докричаться до неё, и просыпался в холодном поту. Я во сне пытался спасти её…

А потом мы ушли снова в плаванье, и сон стал явью: забарахлил реактор, а всплыть мы не имели право, вверху были чужие воды, а до нейтральных было далеко. Решили произвести ремонт реактора на месте. И попросили добровольцев сделать шаг вперед, как пишется в военных книжках. И я сделал этот шаг. Не потому что я герой, а потому что мне не хотелось жить: меня никто не ждал на берегу… И ещё потому, что я был единственный еврей на лодке и я не мог позволить, чтобы еврея посчитали трусом. Я помню, как называл «Воякой из Ташкента» наш пьяница-сосед безногого партизана Хаима, которому дали первую в поселке трёхколёсную машину — инвалидку. Потом все инвалиды получили по «Москвичу», а Хаим так и остался с трехколёской… Скажу вам по правде, я не знаю, какая из этих двух причин перевешивала тогда. Сейчас я думаю, что первая.

— Гришка, — сказал мне сосед по кубрику Валька-филолог, — ты же один в роду остался. Подумай.

— Подумал, — сказал я и добавил, — может, встречусь с отцом…

А потом была долгая дорога до базы… Маленький северный порт, потом Мурманск, потом Ленинград… Я ничего не помню про эту дорогу. Ничего. Пришел я в себя в госпитале в Ленинграде. И первое лицо, которое я увидел не сквозь пелену, было лицо хирурга Ивана Доминикавича, двойного тезки Янки Купалы

— Я мужык — беларус, — пан сахі и касы, цёмны сам, белы вус, пядзі дзве валасы, — первое, что я услышал, ещё не раскрыв глаза, ещё не придя в себя после операции, а потом, я увидел доброе морщинистое лицо, украшенное белыми роскошными усами. И увидел по-отцовски добрую улыбку на этом лице и услышал, — нечага, земляк, валяцца, трэба з хваробай змагацца!

Родом Иван Доминикавич был из деревни под Молодечно, после войны все время жил в России, но певучий белорусский говор остался с ним. Я вам скажу, если бы не он, я бы, наверное, сейчас не разговаривал с вами. Я был совсем плох и телом, и душой. Почти, как у Чехова… Только с минусом.

И он понял моё состояние.

— Хлопча, — сказал он по-белорусски, — так нельга! Ты ещё молодой — жить и жить надо! Выкладывай, что на душе!

И я рассказал ему и про отца, и про маму, и про Любу… И почему-то, про Хаима-партизана…

— Жизнь, парень, не простая штука, — сказал он, посерьезнев, — в ней всякого дерма хватает. Мои родители были партизанами, и их выдал немцам племянник… Он и сейчас в нашей вёске живет. Говорят, смотрит за могилой моих родителей… Когда я приезжаю, зовет меня в гости…, — он мотнул головой, как лошадь, отгоняя назойливого оводня, и резко перешел к другому. — На адной дзеуцы свет клінам не сышоуся? — он подмигнул мне и добавил, — я тебе прыгажуньку найду, Любку свою и не вспомнишь!

И в моей палате появилась Катя. В рифму получилось. Как будто строчка из детского стихотворения.

Она пришла и принесла большой яблочный пирог.

— Это всё, что я умею, — виновато сказала она. — Но он вкусный. Особенно, с молоком.

Она как-то по-особому уместилась на старой табуретке, стоящей у моей кровати: подтянула под себя невероятно длинные ноги и такой же длинной рукой оперлась на край табуретки, и замерла, поблёскивая влажными глазами. И вся наша палаточная братва тоже замерла, не в силах отвести от неё взгляда. Я даже испугался, что её сглазят, и про себя прошептал мамино заклинание, которому она меня научила в детстве:

— Залц им ин ды эйгун, фефер им ин ноз… Соль им в глаза, перец в нос…

На следующий день Иван Доминикавич, внимательно посмотрев на меня, сказал:

— Помнишь, как у Максима, ціхім каханнем к табе разгарацца з гэтай пары я пачау, — и, подмигнув мне, добавил. — Теперь ты понимаешь, для чего надо жить?

— Понимаю, — кивнул я.

Она приходила ко мне довольно часто, но пока мне не разрешали вставать, все наши разговоры проходили на глазах у всей палаты, и я почти ни о чем её не спрашивал, в основном слушал, и только иногда глазами я пытался сказать что-то большее. И мне казалось, что её глаза отвечают тем же.

А потом мы стали выходить во двор госпиталя.

И я спросил, боясь своего вопроса:

— Ты еврейка?

— А что, похожа? — спросила она.

— Не знаю, — растерянно сказал я.

— Ой, какой ты смешной, Гриша, — рассмеялась Катя. — Ну, еврейка я, так что?

— Ничего, — сказал я и добавил. — Просто я обещал маме, что женюсь на еврейке.

— Так женись, — сказала она.

— На ком? — спросил я.

— На еврейке, — ответила Катя.

А потом добавила:

— Я — еврейка, но еврейского у меня ничего, кроме записи в паспорте. Может быть, перепутали в метриках. Я попала в детдом прямо из роддома. От меня отказались. Разве такое бывает в еврейской семье?

И я вспомнил про Лильку, с которой я учился в первом классе. Она доучилась до седьмого, потом бросила школу, куда-то уехала, а потом по Краснополью пошла гулять история, что Лилька нагуляла ребенка и отдала его в детдом. Её мама, Сорра-Злата, на каждом углу кричала, что всё это неправда, что всё это придумала её соседка Хаша, потому что её Райка в прыщах, и что все умрут от зависти, когда увидят с каким женихом Лиличка появится в Краснополье. Но в Краснополье Лилька не появилась, а Райка тети Хашы вышла замуж и на удивление всем Сорра-Злата готовила для этой свадьбы тэйглах, потому что лучше её печь тэйглах в Краснополье никто не мог.

— Всё бывает, — подумал я, но ничего не сказал Кате, промолчал.

И мы заговорили о чём-то другом.

Как-то я её спросил, где она живет.

— На улице Бассейной, — сказала она.

— Где человек рассеянный? — спросил я.

— А кто это такой? — спросила она.

И я прочитал ей стишок Маршака.

Она долго смеялась над приключениями рассеянного человека, а потом честно сказала, что слышит это стихотворение впервые.

А я честно признался, что думал, что такой улицы в Ленинграде нет.

А однажды она сказала:

— А ты знаешь, что сегодня пасха?

— Какая? — спросил я.

— Еврейская, — сказала она.

— Откуда ты знаешь? — спросил я.

— А меня угостили мацой, — сказала она и добавила. — Я ее вчера первый раз пробовала.

— Кто угостил? — спросил я.

Она на минуту замолчала, потом сказала:

— Один знакомый, банкир из Квебека. Знаешь, он привёз с собой еду на целую неделю. Говорит, что у нас в Ленинграде не такая еда.

— Не кошерная, — догадался я.

— Да, он, кажется, так сказал, — кивнула она.

— А откуда ты его знаешь? — спросил я.

— Это моей подруги знакомый, — сказала она и добавила: — Она изучает французский язык.

— А у тебя значит английский лорд в знакомых, раз ты изучаешь английский? — пошутил я.

Катя ничего не ответила. Вообще, она сама очень любила задавать вопросы и совершенно не любила отвечать на мои.

Я как-то у неё спросил, откуда её знает Иван Доминикович.

— А он разве тебе не говорил про это? — удивленно спросила Катя.

— Нет, — честно сказал я.

— И ничего про меня не рассказывал? — спросила она.

— Ничего, — сказал я.

Катя задумчиво посмотрела на меня и сказала:

— Ничего, как говорила наша воспитательница, это пустое место. Вот и я — пустое место! А про пустое место нечего рассказывать.

Пока я не вставал, Катя приходила ко мне едва ли не каждый день, потом стала приходить два — три раза в неделю, потом, когда мои дела пошли на поправку, она стала приходить раз в неделю, и когда я ей сказал, что меня где-то через пару недель выпишут, она почему-то посмотрела на меня грустными глазами и тихо сказала:

— Вот и закончился наш роман.

— Почему закончился? — спросил я.

— Всё когда-нибудь заканчивается, и хорошее, и плохое, — тихо сказала Катя и добавила. — А хорошее всегда заканчивается намного раньше плохого…

И ушла. И две последние недели в госпитале стали казаться мне бесконечными: я каждый день ждал Катю, а она не приходила. И я не выдержал и спросил о ней у Ивана Доминикавича.

Он, посмотрев в мои грустные глаза, сказал:

— Знаешь, Рыгорка, у тебя и у неё разные в жизни дороги…

— Почему? — спросил я.

— Как бы тебе сказать деликатнее, — Иван Доминикавич покрутил ус, что он делал всегда, когда волновался. И сказал, глядя куда-то поверх меня. — Прости меня, что я свел тебя с Катей, но я хотел тебя заставить бороться за жизнь… Ты был совсем плох… Совсем… А в Катю не влюбиться нельзя… Это Богом данное ей! Правда, употреблённое всуе… — он вздохнул и, глядя сквозь меня, сказал, — она — ночная бабочка, или по понятнее — прости, господи! … Я не виню её за это: кто может быть судьёй блуднице? — он на минуту замолчал, а потом сказал. — Я познакомился с нею на операционном столе: какой-то мерзавец исполосовал её ножом, как бог черепаху, и все думали, что она не выживет. Меня пригласили для консультации, расписаться в безнадежности. А я взял её в наш военный госпиталь, в нарушении всех уставов, и спас… Три операции подряд — я боялся, что не выдержит её сердце… Но выдержала… И её я попросил спасти тебя… А теперь она ушла, потому что знает, что ты не для неё… Мавр сделал свое дело, мавр ушел… Не ищи её…

— Я найду её, — сказал я.

— Матрос, — сказал Иван Доминикавич, — я тебе показал, что новая любовь лечит старую. Иного лекарства нет. Ты еще молодой и встретишь не одну Катю…

— Я найду её, — повторил я. — Даже, если вы мне не скажите, где её искать!

И я её нашёл.

Она удивилась, увидев меня, потом спросила:

— Иван Доминикавич тебе обо мне рассказал?

— Да, — сказал я.

— Я намного хуже… — тихо сказала Катя и добавила. — Он не всё обо мне знает.

— А я не хочу больше ничего знать, — сказал я. — Мы начнём жизнь сначала, с нуля. Как будто до этого у нас ничего не было.

— А можно ли начать жизнь с нуля? — спросила она.

— Можно! — сказал я.

— Прошлое остается с нами, даже если мы этого не хотим, — сказала Катя и грустно добавила. — Как не стирай ношенное платье, оно не станет новым. Я пыталась изменить жизнь, но не смогла… Смогу ли сейчас, не знаю…

— Сможешь, — сказал я и добавил. — Мы сможем!

— Ты после будешь жалеть о сегодняшнем дне, — сказала она и добавила. — И я боюсь этого. Я не хочу этого! Я не хочу принести тебе горе…

— Ты принесёшь мне счастье, — сказал я и дотронулся рукой до её лица. И вытер ладонью слезу. Её.

— Мы уедем, — сказал я.

— Куда? — спросила она.

— Далеко, — сказал я.

А потом она спросила:

— А мне можно взять с собою Пита?

— Кого? — переспросил я.

— Это щенок, — пояснила Катя, — единственный мой друг.

— Друга возьмём, — сказал я.

И мы уехали в Краснополье. Поселились в старом мамином доме. Катя устроилась учительницей английского языка в ближайшей от Краснополья деревне, у неё за плечами были три курса иняза, а я со своими двумя курсами радиотехнического устроился в Доме пионеров вести радиокружок. Как ни удивительно, но Катя быстро втянулась в нашу местечково-деревенскую жизнь, и в отличие от меня, родившегося и выросшего в местечке, лучше меня справлялась и в огороде, и по дому. Даже наша соседка тётя Рива назвала её бэрьей.

— Какой Берия? — спросила меня Катя, которая по-идиш не понимала ни слова.

И я ей объяснил, что так по-еврейски называют умелицу. И она потом при любом моем успехе называла меня «бэрием».

Так она перевела в мужской род это слово.

И может быть, мы спокойно вот так провели бы всю свою жизнь в Краснополье, если бы не началась Америка. Потихоньку евреи стали уезжать, и как ни удивительно, одной из первых уехала моя тетя Голда с чекистом. Кстати, узнав, что я женился, она впервые за все годы, прислала подарок: верблюжье одеяло и пуховый платок. Стали уезжать и краснопольские евреи. Уехала и Любина родня. Когда её дедушка увидел Катю, он специально остановил нас, долго рассматривал её, и сказал:

— Ашейнэ мэйдалэ ду гефинд! Красивую девушку ты нашел! — а потом как-то встретил меня одного и долго рассказывал про Любиного мужа. — Ты думаешь, за кого они отдали Любку? Нашли бохера из Могилева. Моя Соня сказала, что он умеет делать деньги. Ну и что? Большой пориц! Большой барин! Я помню, как Мойша Брагин говорил, мешок с деньгами — это не перина, на нем не совсем удобно спать. А Мойша толк в деньгах знал. И в перинах тоже.

Из этого разговора я понял, что Любин муж Анэмэсу не совсем понравился. Меня это не радовало и не расстраивало: меня это просто не интересовало. У меня была Катя.

Когда стали уезжать краснопольские евреи, я как-то сказал Кате:

— Как они там смогут приспособиться к совсем иной жизни? Мне кажется, что я бы не сумел.

— А я не знаю, может быть и сумела б, — сказала Катя, — я знаю одно, там такие же люди, как и здесь: и добрые, и злые.

Я вам скажу честно, я боялся ехать и радовался, что меня никто туда не зовет, но года через три после того как Голда уехала в Америку, неожиданно пришло от неё письмо (Гришечка, как ты там? У вас, наверное, ни одного еврея не осталось? Кто у меня есть кроме тебя?), а потом через пол-

года пришел вызов, и я, как и все, махнул на все страхи рукой. (Как-никак, не на край света едем, а в Новый свет! — пошутила Катя.) и мы поехали. Втроём: я, Катя и Пит. Пит к этому времени превратился в большую серебристо — пушистую собаку похожую на волка.

— Сибирская лайка с какой-то долей волка, — определил её породу Иван Доминикавич.

Перед отъездом мы заехали к нему. Он очень обрадовался нам. Пробыли мы у него всего одни сутки, назавтра уехали в Москву, у нас рейс на Нью-Йорк был из Шереметьево.

Все эти сутки в основном говорил я, а Иван Доминикавич слушал. Катя тоже молчала. Говорил я про всё, только не про Америку, как будто, мы просто так заехали в гости. И Иван Доминикавич не касался этой темы. А потом я вдруг сказал:

— Не знаю, правильно ли мы делаем, что едем. Завтра улетаем, а я всё думаю…

— Как у нас говорили, рада да рады — и бог дапомачы. Пусть поможет тебе Бог! Он должен помогать добрым людям! — сказал Иван Доминикавич и добавил. — Хочу тебе сказать, что здешняя жизнь не сладкая ягода. А какой она ещё будет, одному Богу известно. А когда здесь плохо, всегда евреи виноваты. А там все-таки Америка…

А на вокзале, когда куда-то на минутку отлучилась Катя, он спросил:

— Ну, как у тебя жизнь с Катей?

— Хорошо, — сказал я и добавил. — Я её люблю!

— Люби! — сказал Иван Доминикавич. — Люби и береги!

А потом в самолете, над Атлантикой, Катя мне сказала, что Иван Доминикавич спрашивал её обо мне.

— Он сказал мне, чтобы я тебя берегла! — тихо сказала Катя и прижалась ко мне. — И чтобы тебя любила. А я и так тебя люблю и берегу!

— И я тебя, — сказал я…

В Нью-Йорк мы прилетели к вечеру и приблизительно через час пересели на самолет на Чикаго.

— Хорошо, что у тебя родственники в Чикаго, а не в Нью-Йорке, — сказала Катя.

— Почему? — спросил я.

— Почти все ленинградцы в Нью-Йорке, — сказала Катя, — а мне не хочется встречаться с моим прошлым… Я его боюсь…

— Со мной и с Питом тебе никого не надо бояться, — сказал я…

В аэропорту Chicago-O'Hare нас встречал муж тёти Голды Николай Львович, или как его звала моя мама Чекист. Я его раньше никогда не видел, кстати, тетю тоже, но моё представление о нём было совершенно другое, чем то, которое явилось мне в аэропорту. Я представлял Николая Львовича высоким, худым, с орлиным взглядом, чем-то похожим на Дзержинского, а передо мной стоял низенький толстенький еврей в кипе. А тётя Голда оказалась очень похожей на маму.

Сняли они нам квартиру вблизи от своего дома.

— Чтобы вам недалеко от нас было, и мы могли когда-нибудь заходить к вам, — пояснила тётя Голда свой выбор. — Коля её вам нашел: он уже все и всех здесь знает!

А потом дядя Коля целую неделю показывал нам город, а в воскресенье купил нам экскурсию по Мичигану.

В маленький элегантный белоснежный прогулочный катер я влюбился сразу и Катя это заметила.

— Тебе нравится? — спросила она.

— Да, — сказал я и мечтательно добавил, — вот бы устроится сюда матросом.

— А я сейчас спрошу, — сказала Катя. — Может, как раз им нужен матрос.

— Что ты, — сказал я, — такого не бывает.

— Не бывает, — подтвердил дядя Коля.

— Всё бывает, — возразила Катя.

А тетя Голда её поддержала:

— За спрос не бьют в нос! Иди, спроси.

И она пошла.

И как ни удивительно, меня взяли.

Айре, хозяину этого катера, я понравился. И понравился потому, что я служил в русском флоте.

— Русские, хорошо, победа! — сказал он по-русски, а потом по слогам произнёс, знакомые мне слова: — Му-р-ма-нск! Гремя-щий!

Больше по-русски он ничего не знал. А потом по-английски он рассказал, что во время войны служил в северном караване, который вёз продукты в Россию. Катя переводила. Он долго говорил с нами и из этого разговора я понял, что он знает, что такое русский матрос, и что это очень хороший матрос, и что этот матрос спас индейца из племени чиппевайи, то есть его — Айру! И еще я понял, что он взял меня на работу. В ту минуту это было для меня самое главное.

На первую зарплату Катя устроила маленький пир для нас двоих: она купила мексиканское тако, японские суши, китайского лобстера, итальянскую пиццу и ещё всякой разности, о которой мы никогда не слыхали. И испекла свой любимый яблочный торт.

В этот вечер она сказала:

— Как я счастлива, что ты у меня есть! Что было бы со мной, если бы я не встретила тебя?

— А если бы я не встретил тебя? — спросил я.

— Ты бы нашел другую. И, наверное, лучше меня, — сказала Катя и вздохнув, добавила. — А я лучшего бы не нашла.

— И я не нашел бы лучшую, — сказал я.

— Нашел бы, — возразила мне Катя. — Ты сам не знаешь, какой ты хороший!

В тот вечер я ей сказал:

— Слава Богу, у меня есть работа, так что теперь ты спокойно можешь идти учиться, ты же знаешь английский.

А она ответила:

— Я пойду работать, — и спросила: — Хорошо?

— Плохо, — сказал я.

И тогда она сказала:

— Я не хочу, чтобы весь груз забот свалился на одного тебя. Пойми, я не смогу ничего не делать, когда работаешь ты, — она посмотрела задумчиво на меня и сказала, — но если ты очень хочешь, я буду учиться по вечерам, после работы… Хорошо?

Я ничего не ответил… И Катя пошла работать. Дядя Коля вычитал в газете про агентства по уборке квартир, она пошла туда, и её взяли на работу. А по вечерам она стала учиться в колледже на медсестру.

Зарабатывали мы с Катей не так много, но нам вполне хватало на жизнь. Как говорила Катя, до среднего класса не доросли, до нижнего не опустились, но есть надежда впереди…

— Только на тебя надежда! — шутил я.

— Почему только на меня? — не соглашалась Катя.

— Потому что ты будешь дипломированной медсестрой с окладом тысяч на сорок! — говорил я.

— Может быть, — не возражала Катя и добавляла. — Только раньше твой Айра, так как ты его лучший матрос и лучший друг, оставит тебе в наследство катер, и ты станешь бизнесменом. Идёт?

— Идиот! — смеялся я

И досмеялся…

Айра стал оставлять все чаще катер на меня, стал по несколько месяцев в году уезжать во Флориду и однажды, вернувшийся после очередного месячного уикенда, сказал:

— Знаешь, Гриша, я решил поселиться во Флориде и эту посудину продать. Мне, конечно, хочется, что б она осталась в хороших руках, — он посмотрел на меня, вздохнул и сказал. — Может быть, ты купишь? — и назвал цифру.

Таких денег у меня не было. И он понял это по моим глазам. И сказал:

— Это дело неспешное, Гриша, я полгода ещё здесь побуду. Так что подумай.

Вечером я обо всём рассказал Кате.

— Это же твоя мечта! — обрадовалась Катя.

— Мы столько денег не найдём, — безнадёжно сказал я. — Это пустая мечта.

— Так не говори, — возразила Катя, — я по твоим глазам вижу, что он очень тебе хочется. И ты будешь его иметь! У нас ещё целых полгода впереди! Что-нибудь придумаем. Я найду себе ещё подработку на вечер.

— А колледж? — спросил я.

— Потом, — сказала Катя. — Учеба никуда от меня не убежит. Через год продолжу.

И я не возразил. Я сказал только, что тоже подыщу себе что-нибудь. И, через неделю, подвернулась работа ночного секьюрити на нашем пирсе. И мы с Питом пошли зарабатывать деньги на катер. Кате так быстро, как мне не повезло с работой, долго ничего не подворачивалась, она очень переживала от этого, и сама себя винила:

— Тебя втянула в это дело, ты день и ночь работаешь, а я лишнего рубля не могу заработать!

Ну, а потом, где-то недели через три, вдруг неожиданно, она сказала, что её берут сиделкой на ночь к старушке-миллионерше. И назвала сумму, которую ей будут, платит. От этой цифры мы с Питом стали на передние лапы, как говорит Катя, если слышит что-то невероятное.

— Вот видишь, — сказала она. — Теперь катер будет твой!

— Наш, — поправил я её и сказал. — И надо тебе было переживать, что нет подработки?! Когда надо, всё само собой отыщется. Это мама моя так всегда говорила.

— Да, — сказала Катя и почему-то грустно добавила, — хоть и говорят, что не в деньгах счастье, но без них не обойтись.

Эти полгода мы почти не виделись друг с другом, только обменивались коротенькими записочками. И при такой жизни, Катя ухитрялась готовить еду и для меня, и для Пита, который был со мной эти полгода круглые сутки.

Голда тоже принимала активное участие в нашей покупке, она обошла всех Колиных родственников, а мишпоха у него была довольно большая, и надолжала нам несколько тысяч. И, в конце концов, через четыре месяца я принёс Айре деньги. Он искренне обрадовался этому:

— Слава Богу, что катер будет у тебя, — сказал он и, как будто говорил о ком-то из родных, добавил. — Я теперь за него буду спокоен.

За неделю мы оформили документы, и я стал владельцем прогулочного катера. В тот же день я уволился со второй работы и принялся доводить катер до ума. Своего. Я перекрасил борта, обновил обшивку, кое-что заменил в салоне и главное — сменил название. Я назвал катер «Катя»…

Когда я сказал об этом Кате, она расплакалась.

— Почему ты плачешь? — спросил её.

— От счастья, — сказала она и почему-то добавила, — если бы ты знал, Гриша, как я боюсь потерять тебя!

— Почему ты меня должна потерять? — удивился я.

— Не знаю, — сказала Катя, — но я сейчас так счастлива, как никогда. А я этого не заслужила!

— Ты говоришь глупости, — сказал я, — но я понимаю — это всё от усталости! Давай, немного отдохнём, забудем про все дела и слетаем на недельку, на Ямайку. Я в детстве мечтал там побывать. Плюнем на все дела, всё никогда не переделаешь, и прямо завтра полетим!

— Завтра не могу, — сказала Катя. — Я должна у старушки отработать до конца месяца, я забрала зарплату вперед.

А до конца месяца оставалось ещё целых две недели…

В воскресенье пришёл прощаться со мною Айра: он улетал навсегда во Флориду. Доживать свой век, как сказал он мне. И попросил меня на прощание прокатить его по Мичигану.

— По нашему маршруту? — спросил я.

— Да, — сказал он, но, когда мы прошли шлюзы, он попросил взять правее и где-то минуты через две попросил остановить катер.

— Риша, — сказал он, — пожалуйста, запомни это место. Здесь покоятся души моих предков.

— Души? — переспросил я.

— Да, сказал Айра, — души! А их самих здесь нет. Это место, с которого можно начать жизнь во второй раз, если она не удалась в первый. Так говорили старики нашего племени. И здесь покончили со старой жизнью и начали новую и мой прадед, и мой дед, и мой отец, — Айра вздохнул, вытер, выступивший на лице пот, и сказал, — а я знаю, что, как бы я не изменял свою жизнь, в ней всё равно будет ВОЙНА! Это не зависит от меня! И я не хочу её второй раз переживать! Не хочу! Я сыт ей по горло за один раз! И поэтому поеду спокойно умирать во Флориду, в Дайтона-Бич. Да простят меня мои предки!

Потом склонился над водой и долго что-то бормотал, отрешенно глядя на темную ночную поверхность озера. А потом сказал:

— А теперь поехали по нашему маршруту. Я попрощался с душами моих предков, а теперь попрощаюсь с Мичиганом.

На обратном пути неожиданно выпорхнул из-под носа катера дикий гусь. Он резко, как будто выпущенная из лука индейская стрела, пошёл вверх.

— Чья-то душа начала новую жизнь, — сказал Айра, задумчиво глядя вслед исчезнувшей в ночном небе птице, и вздохнув, добавил, — что ждёт её в новой жизни?

Мы долго кружили по озеру… Когда вернулись к пирсу, было уже далеко за полночь.

— По домам? — спросил я.

— Нет, — сказал Айра, — я хочу на прощание с тобой выпить немножко вина и много водки, как мне говорил русский капитан в Мурманске. Поедем в ночной бар. Возьмём твою Катю и устроим маленький праздник.

— Она работает, — сказал я.

— Тогда мы можем поехать в стриптиз-бар, — сказал Айра и подмигнул мне. — Ты когда-нибудь видел такое?

— Нет, — сказал я.

— Поедем в абстэйт, — сказал Айра, — там открылся бар с русскими девушками, — он порылся в кармане, вынул флаерс и подал его мне, — вот адрес, поехали. Вспомним Россию. Мой сосед там был. Говорил, рашен гёрл-окей!

Мне не хотелось ехать, но я не мог отказать Айре, и мы поехали. Мы долго плутали по хайвэю, ища нужный экзит, и где-то только через час нашли этот проклятый бар. Я запарковал машину недалеко от входа, оставил в ней Пита, и мы пошли…

В первую минуту я стал высматривать в полутьме зала свободный столик и только потом, найдя его, повернулся в сторону маленького освещенного пятачка возле стойки бара. На нем танцевала совершенно голая девушка. Мой взгляд почему-то сначала заскользил по её босым ногам, потом пополз вверх, проскочил по ложбинке между её грудями и уткнулся в её глаза… Наши глаза встретились. Это была Катя…

Дальше все поплыло передо мной, как будто я внезапно ослеп. Я слышал её, но не видел.

— Гришенька, — били в моих ушах колокола, — прости меня… Прости… Я больше нигде не могла заработать столько денег… Нигде… А я хотела, чтобы ты смог купить этот катер… Прости…

Я зажал уши руками и выбежал из зала…

Пришел в себя я на хайвэе. Не знаю, с какой скоростью я вёл свой «Корвет», но он летел над дорогой, как самолёт. Копы у нас на дорогах охотятся днём и ночью, но в ту ночь они мне не встретились…

Потом я вывел катер из пирса и повел его к душам айриных предков. Я желал начать жизнь сначала. Всю её повторить по — иному…

Остановил я катер точно в том месте, где мы стояли с Айри. Стал на носу. Посмотрел на сверкающий огнями ночной Чикаго, потом долго смотрел на фотографию Кати, которую всегда носил с собой, потом поцеловал в морду Пита и потом сделал шаг вперед… за борт… И Пит бросился меня спасать. Я отбивался от него, но он волчьей хваткой вцепился в меня, и мы вместе пошли на дно. Последнее, что я увидел, это диск луны, размытый водой, и, смотрящие на меня глаза Пита.

2

Когда мои мечты за гранью прошлых дней,
Найдут тебя опять за дымкою туманной,
Я плачу сладостно, как первый иудей
На рубеже земли обетованной.

Афанасий Фет

Мама меня разбудила где-то к обеду.

— Гришенька, — она легонько подергала за одеяло, — пора вставать.

Я открыл глаза и посмотрел на маму, мне показалось, что я её не видел сто лет.

— Ну, как выпускной вечер? — спросила мама.

— Хорошо, — сказал я.

— Вот и стал ты взрослым, — сказала мама и, вздохнув, добавила, — как был бы рад сегодня папа…, — а потом неожиданно сказала: — А что это ты за собачку вчера принёс?

— А где она? — спросил я.

— На диване спит, — сказала мама.

Я вскочил с кровати и выбежал в зал: свернувшись калачиком на диване, спал маленький щенок. И тогда я вспомнил ВСЁ.

— Это Пит, — сказал я маме.

— И кто интересно его тебе дал? — спросила она.

— Никто, — сказал я. — Я его нашел.

— Значит, он чей-то, — сказала мама.

— Чей-то, — согласился я, — если найдется хозяин. А не найдется, то будет мой. Хорошо?

— Хорошо, — согласилась мама.

И Пит остался у меня. Хозяин на него не нашелся, несмотря на то, что мама о нем рассказала, чуть ли не каждому в Краснополье…

А потом мы стали с мамой обсуждать, куда мне пойти учится. Мама хотела, чтобы я поступал в Минский радиотехнический, а я сказал, что хочу в кораблестроительный, в Ленинград.

— Для чего тебе так далеко, — сказала мама. — И радиотехнический — более перспективный.

И ещё она говорила, что еврею в Ленинграде поступить в институт невозможно.

— Почему? — спросил я.

— Так все говорят, — сказала она.

— А я поступлю, — сказал я и добавил, — и папа мечтал, что я буду строить корабли!

— Ты думаешь, он знал, что он мечтал?! — вздохнула мама. — Он хотел, чтобы ты был матросом! Хорошенькая еврейская мечта, от которой мне тогда было плохо!

— Но я же не в матросы иду, а в инженеры, — успокоил я маму.

— А если ты не поступишь, то тебя сразу осенью заберут в армию, — сказала мама. — И что тогда будет?

— Тогда я пойду в матросы, — спокойно сказал я и уверенно добавил, — но я поступлю!

Я так сказал, но в душе не был уверен в этом. Мне просто необходимо было поехать в Ленинград, ибо там должна была быть Катя. И, как ни удивительно и для мамы, и для меня, я поступил в корабелку, а вот Катю я не нашёл… Я слишком мало знал её прошлое, а в моей новой жизни оно, наверное, в чем-то изменилось, и наши пути не пересекались… И тогда я нашел Ивана Доминикавича. Я встретил его утром по дороге в госпиталь. Он меня не знал. И я его не должен был знать. Но я его остановил:

— Извините, меня, — сказал я, — но я хочу вас спросить об одной пациентке.

— Пожалуйста, — сказал он и по привычке, подкрутил пушистый пшеничный ус.

— Её звали Катя, — сказал я.

— Не знаю такой, — сказал он и добавил: — У меня в основном пациенты мужчины. А женщин за всю мою жизнь оперировал я только трёх. И всех их я помню, — он сочувствующе посмотрел на меня и спросил. — А где она служит?

— Она не военная, — сказал я.

— Значит она не у нас, — сказал он, — гражданских у нас не бывает. И рад помочь да не в мочь, как говорил старец Пафнутий, когда его просили о чуде.

… Я часто стал приходить к госпиталю, надеясь, что, все-таки Катя окажется там, Иван Доминикавич стал даже узнавать меня и приветственно при встрече кивал головой, но Катя за все годы моей учебы в Ленинграде, там так и не появилась…

Однажды на Витебском вокзале меня остановила цыганка:

— Молодой, красивый, — сказала она, — не ищи своё прошлое.

Я удивленно посмотрел на неё и спросил:

— Почему? — и протянул ей все деньги, что лежали у меня в кармане. В тот день я получил стипендию. И я отдал её всю ей.

— Большие деньги даешь, — сказала она, — не стоит мой совет таких денег.

— Бери, — сказал я, — только скажи, почему я не должен искать свое прошлое?

— Потому что, океан между твоим прошлым и будущим, — сказала цыганка и добавила. — А в одиночку ты его переплыть не сможешь! Забудь прошлое, женись и живи! Если прошлому надо, оно найдет тебя само!

Больше она ничего не сказала, и я понял, что Катю мне не найти.

После института меня направили в Могилев, на маленький судоремонтный заводик. Я мог, конечно, выбрать что-то другое, но мне хотелось поближе к дому и, когда я увидел, что в распределении есть Могилёв, я сразу же выбрал его. Каждый выходной я стал приезжать в Краснополье, и для мамы большего счастья не надо было. И Питу — это тоже было по душе. Каждую пятницу он с мамой встречал меня на автовокзале и радостно прыгал на меня стараясь лизнуть в щеку. А потом дома он ложился на половичок возле грубки, я садился рядом на маленькую скамеечку,

просматривал газеты, что мама собрала за неделю, а Пит смотрел на меня. Зимой я растапливал в грубке дрова, и мы смотрели на огонь.

— Это ваше любимое место, — говорила мама. — Вы так можете, молча просидеть весь вечер. О чем вы интересно думаете?

«О Кате», — мысленно отвечал я ей, а вслух говорил совершенно иное.

И тогда мама начинала разговор о моей женитьбе.

— Гриша, — говорила она, — уже все твои друзья давно имеют детей, а ты всё никак не можешь жениться. Я с этой мыслью ложусь спать и встаю. А тебя я вижу, это не волнует.

— Волнует, — честно говорил я, — но ты же видишь, никого нет поблизости.

Волнуясь обо мне, мама написала даже письмо тете Голде, с которой раньше не имела ни каких дел. И, что самое удивительное, тетя Голда активно принялась за поиски невесты для меня, и мы стали получать от неё письма с фотографиями саратовских красавиц. Маме они все нравились, а мне ни одна. Мама уговаривала меня в отпуск съездить к тете Голде, но я отказывался, и, в конце концов, тетя Голда прислала нам, а мэйдэлэ в гости. Мама всем в Краснополье объявила, что приезжает племянница. Племянница, в первый же день попросила меня купить ей сигареты, и я, зная свою маму, честно ей сказал, что маме это не понравится.

— Неужели она у тебя такая местечковая? — сказала она и презрительно фыркнула.

И я купил ей пачку «Космоса».

В тот же день мама позвала меня в огород и сказала:

— Я знала, что Голда ничего хорошего не найдет!

Племянница погостила у нас неделю, порадовалась ассортименту нашего сельского универмага, потом мы нагрузили её подарками, и она уехала в свой Саратов, вычеркнув из маминых кондуитов тетин адрес навсегда.

Но отказавшись от Голдиной помощи, мама не успокоилась и поиски невесты не прекращались ни на день. Но

все было безрезультатно и мама в сердцах начала каяться, что отказалась от «дамы с папиросой», как она называла саратовскую невесту.

— Лучше она, чем оставаться на старости одному. Кто тебе подаст стакан воды, когда меня не будет! — вздыхала она, глядя печальными глазами на меня. — Посмотри на Иосика тети Рахили: всё выбирал, а теперь на кривой Хайке женился бы, так она его не хочет! А годы на месте не стоят. Ты сейчас смеешься, что такое мама говорит, а тебе, слава Богу, уже за тридцать! Сколько ещё можно ждать?

Всеми этими разговорами мама довела меня до такого состояния, что я, как Рахилин Иосиф, был готов жениться на первой встречной, только бы успокоилась мама.

И тут появилась Люба. Мама не дождалась моего приезда в выходные и позвонила среди недели мне на работу.

— Что такое? — перепугался я.

— Гришенька, — радостно сообщила мне мама, — не волнуйся. Всё хорошо: вчера у меня была Соня, дочка Мони и Хаи, что живут в Садовом переулке. Я с ней в школе училась до войны, сейчас она живет в Осиповичах. И знаешь, почему она зашла ко мне?

— Не знаю, — сказал я, инстинктивно догадываясь, о чем идет речь.

— Она хочет тебя познакомить со своей дочкой! Представляешь, она тоже живет в Могилеве! И работает заведующей производством в столовой. Она мне показывала её фотографию. Ашэйнэ мэйдалэ! Я тебе хочу сказать, что если она в свою маму, то ты не пропадешь!

— Мама, — сказал я, — ты так говоришь, как будто все решено. А если я ей не понравлюсь?

— Понравишься, понравишься, — сказала мама. — Я буду Бога просить и папа, там, на небе, за тебя слово замолвит!

Я, помня свою прежнюю жизнь, про себя подумал, что ни чего из этих маминых желаний не получится. Но моя новая жизнь была совсем иной, совершено не похожая на пер-

вую. И в ней я понравился и Любиной маме, и Любиному папе, и Любиному брату… И Люба понравилась мне.

Свадьбу сыграли в Осиповичах, в офицерской столовой, на ней был весь высший свет городка и даже с Краснополья приехал второй секретарь райкома, который с Любиным папой учился в партшколе. Самой счастливой на свадьбе, наверное, была моя мама, она сидела возле меня и не переставала мне говорить:

— Гришинька, ты видишь, какая у тебя свадьба? Я о такой свадьбе даже не мечтала. Всё Краснополье только о тебе и говорит.

И я грешным делом подумал, что в новой жизни я буду счастливее, чем в старой. Но я ошибался…

Когда гости разошлись, и мы с Любой остались одни, она вдруг сказала:

— А ты знаешь, Гриша, почему мы спешили со свадьбой?

— Не знаю, — сказал я, удивленный её вопросом.

Люба отвернулась от меня к окну и, не оборачиваясь, тихо сказала:

— У меня будет ребенок.

— Чей? — не знаю, почему спросил я.

— А тебе не всё равно, — сказала она.

— Всё равно, — сказал я и спросил: — А мама твоя знает об этом?

— Да, — сказала она и добавила, — я думала избавиться от ребенка, но было уже поздно, и врач сказал, что это опасно для меня. И тогда мама нашла тебя… Папу собираются перевести в обком, и мама сказала, что я могу испортить папину карьеру…

— Почему ты мне об этом не сказала раньше? — спросил я.

— А ты бы тогда женился на мне? — спросила она и, не дожидаясь моего ответа, сказала. — Мама бы тебе не разрешила, она у тебя слишком правильная! Я права?

Я ничего не ответил и тогда, повернувшись наконец ко мне, она сказала:

— Тебя выбрала, не только моя мама, но и я. Ты мне понравился! — она на минуту замолчала, потом, неожиданно для меня, опустилась передо мной на колени и сказала. — Прости!

— Ты что? — сказал я, не зная, что сказать.

— Ты можешь со мной развестись, — сказала она и добавила: — Только, пожалуйста, после того как родится ребенок. У него должны быть мама и папа… И знай, что я люблю тебя!

Потом она сказала:

— Мне уйти?

— Оставайся, — сказал я.

Я не мог сказать иначе…

Любиного папу, где-то через пару месяцев перевели в Могилев, и мы получили две квартиры рядом, в центре, недалеко от кинотеатра «Кастрычник». Потом у Любы родилась девочка. Моя мама очень переживала, что у нас шестимесячный ребенок, и Любина мама её успокаивала, уверяя, что все будет хорошо.

— За крошкой смотрят врачи обкомовской больницы, — успокаивала она маму, — не волнуйся, Цылечка, Галочка наберет вес за пару недель.

Девочку назвали Галей в честь моего папы.

Когда мама приехала к нам в гости, ей очень понравилась девочка, и она сказала, что Галочка копия я в детстве. И мне девочка пришлась по сердцу. Маленькая, она была очень беспокойная и почти весь первый год, я ночи проводил у её кроватки, давая Любе отдохнуть за день. И первое слово, которое она сказала, было:

— Па-па!

Ей так понравилось это слово, что она его повторяла без остановки целый месяц и Люба даже обижалась на неё, что она и её называет папой. Но потом, наконец, она сказала:

— Ма-ма, — и радостная Люба сообщила мне об этом, тут же, по-телефону на работу.

Мы с Любой никогда не вспоминали о нашем послесвадебном разговоре, и жизнь наша постепенно обретала солидность и стабильность. С началом перестройки Любин брат Наум ушел в кооперативы и потянул за собой меня. Я крутился у него в помощниках: мы открывали какие-то магазины, станции по ремонту машин, что-то покупали, что-то продавали. Вместе с нами во всех этих делах крутился и Большой Человек-Костя, как его называл Наум, сын шефа Любиного папаши. У него были деньги и связи и благодаря нему наши дела шли совсем не плохо… Но как говорила когда-то Катя, хорошее заканчивается быстрее, чем плохое… Это случилось перед Новым годом, где-то за неделю. В этот день мы собирались на день рождения к Науму, и я пришел домой немного раньше Любы. Я только начал мыться под душем, как зазвенел телефон: я выключил воду и. тут услышал щелчок в дверях: пришла Люба. Она прямо с порога схватила телефон, и я невольно услышал её разговор:

— Как приехал? У него же командировка?! Он должен был приехать на следующей неделе!?

Я не знаю, что ей ответили. Но потом я услышал:

— Мама, ты же знаешь, что он обязательно придет к Науму! Он же его босс!

Я понял, что разговор идет о нашем Большом Человеке. Он был по делам в Питере. Я не хотел прислушиваться, но душ всё не работал, а Любин голос не умолкал.

— Ты ещё спрашиваешь почему? Потому что мы любим друг друга! Ты можешь это понять? — я подумал в эту минуту, что это она говорит обо мне, но через мгновение, я понял, что эти слова относятся не ко мне. — Ну и что, что у него жена? Он хотел тогда развестись, но вы же подняли трамтарам! И мне пришлось остаться с ребенком и Гришей! — она замолчала, видно слушая мамины слова, потом сказала. — Я знаю, что его отец не хотел, но он же хотел… Кстати, я с ним встречаюсь и сейчас… Он меня любит, и я его люблю!

Я резко повернул кран, и холодная обжигающая вода низвергнулась на меня, и дрожь пробежала по моему телу, как у птицы, попавшей в силок. Люба услышала шум воды и подбежала к дверям ванной:

— Гриша, ты уже дома? — растерянно спросила она.

— Да, — ответил я.

— Ты слышал, как звонила мама? — испуганно спросила она.

— Нет, — успокоил я её, — из-за воды здесь ничего не слышно.

Она на какую-то минуту замолчала, приходя в себя, потом сказала:

— Ты знаешь, я что-то себя плохо чувствую, наверно, подхватила грипп, — и, помолчав, добавила, — я маме сказала, что к Науму мы не пойдём, там будут дети, не хочу всех заразить… — потом сказала. — Ты если хочешь, можешь идти.

Я не пошел, и мы остались дома. Люба легла пораньше спать, а я пошел читать Галинке сказки.

В тот день Галинка мне сказала:

— Бабушка меня спросила, кого я люблю больше: папу или маму?

— И что? — сказал я.

— Я сказала, что обоих люблю одинаково, — сказала Галка.

— Правильно, — сказал я.

Галчонок хитро посмотрела на меня и сказала:

— А я тебя люблю немножко больше.

— Почему? — спросил я.

— Потому что бабушка сказала, что я должна маму любить немножко больше, — сказала Галка. — Значит, и тебя я должна любить немножко больше! Правильно?

— Правильно, — согласился я.

Потом мы ещё читали сказки, а потом она уснула, а я не мог уснуть до утра… В первой моей жизни я много сделал необдуманных поступков, они не принесли мне радости,

только беды всем, и мне не хотелось опять идти той же дорогой… Я почти до самого утра сидел в кресле, в зале, и думал, что мне делать: молчать и жить дальше, как будто я не слышал этого разговора, и тогда будет спокойна моя мама, и Галчонок будет счастлив, или все поставить вверх ногами, уйти от Любы, и тогда я могу потерять маму, она навряд ли перенесет такую историю, и Галчонок навряд ли будет счастлив. Я не находил ответа… И ответ пришел сам собой: утром позвонила наша соседка из Краснополья и сказала, что ночью маме было плохо и её на скорой отвезли в больницу. И мне уже было не до разговоров с Любой…

Люба, узнав, что мама заболела, сразу засобиралась в Краснополье.

— Мы привезём её сюда, и папа устроит её в обкомовскую больницу, — сказала она.

И так все сделала.

Мама пробыла в больнице недели две, слава Богу, все обошлось и её выписали. Люба в эти недели делала все возможное для моей мамы: каждый день была у неё в больнице, разговаривала с докторами, доставала какие-то лекарства, и мама просто начала молится на неё:

— Гришенька, — сказала она мне, когда уезжала в Краснополье, — какая Любочка хорошая! Я вижу, какие невестки у других, и сама себе не могу поверить, что у нас такая мэйдалэ! Я всю жизнь мечтала о такой невестке и, слава Богу, я её получила.

Когда мы проводили её и шли домой с автовокзала, Люба сказала, что врач ей сказал, что маму нельзя беспокоить, волнения для неё опасны. И я понял, что Люба ничего не хочет менять в нашей жизни: всё должно оставаться по — старому… И я вычеркнул из своей памяти тот злополучный вечер. Мне не хотелось о нем напоминать ни Любе, ни себе. Никому…

Только после того вечера из Наумового кооператива я ушел, объяснив, что мне это дело не по нутру, и вернулся

на свой судоремонтный. Я не мог каждый день смотреть в прищуренные глаза Большого Человека. Люба была не против моего решения, и лишь Наум сказал:

— Рожденный ползать, летать не может! Ох, дурак ты, Гришка, и не просто дурак, а большой дурак!

Это я знал и без него. Но что бы делали на свете умные, если бы не было дураков?

И пошла моя обычная дурацкая жизнь. А потом началась Америка. Первым уехал Наум, у его жены оказались родственники в Нью-Йорке. Он открыл там какой-то бизнес совместно с Большим Человеком, который к моей радости перебрался из Могилева куда-то под Санкт-Петербург, как стали звать Ленинград. Я спросил как-то у Любы, что это за бизнес, и она неопределенно махнула рукой:

— Что-то в сфере обслуживания… Какое-то туристическое агентство вроде…

И я больше не спрашивал.

А потом Наум вызвал нас.

— Как только мы приедем, то вызовем твою маму, — пообещала Люба.

Вместе со своей мамой она поехала в Краснополье и так уговорила мою маму, что та стала просто сиять от счастья, что мы будем жить в Америке:

— Если бы папа мог знать, что Гришенька будет американцем, — объясняла моя мама свою радость всем, — то он был бы самым счастливым человеком на свете! Я помню, как он говорил об Америке: «Цыля, ты знаешь, что это за страна? Там молоко пьют, как воду, а пиво, как у нас молоко! А шоколад кушают вместо хлеба!»

Каждый день она стала звонить нам и спрашивать, скоро ли мы едим. А мы все не ехали. И, в конце концов, когда она уже на наш отъезд махнула рукой, — видно ихний Наумчик что-то не так сделал! — мы поехали. За неделю до отъезда нам позвонил Наум и сказал, что он переехал в Чикаго, и мы тоже там будем жить. Когда Люба передала мне этот разговор, сказав, что Чикаго ей даже больше нравится,

так как Нью-Йорк — это большое местечко, как ей говорили, я неожиданно для самого себя сказал:

— От судьбы не уйдешь! — и Люба удивленно посмотрела на меня: какая ещё судьба связывает меня с Чикаго.

Мама, уверенная в своём скором отъезде, хотела с нами переправить кое-что из своих вещей, чтобы потом ей было легче выбираться, но мы сами не отправляли багаж и взяли только самое необходимое на первый случай.

— Мама, — сказала ей Люба, — ничего с собой не берите, там, в Америке это все копейки, так нам написал Наум.

Я знал, что не все там копейки, но промолчал, ибо я знал главное, что вся жизнь человеческая — копейка!

Где-то за месяц до отъезда мама вспомнила про Пита:

— Сыночек, — сказала она, — собаку ты должен забрать с собой, потому что я не смогу ничего сделать с ней, когда мне надо будет ехать. А оставить её здесь нам некому.

После моей женитьбы, Пит оставался у мамы, так как Люба категорически была против собаки. И когда я ей сказал, что я беру, Пита с собой, она подняла шум, но как ни странно, её мама поддержала меня, сказав, что если мы в Америке купим дом, то там без собаки нельзя.

— Ты же читала, что Наум приобрел за три тысячи колли, — сказала она, полная уверенности, что в Америке у нас будет свой дом.

И Пит полетел с нами…

У Наума был дом под Чикаго, в Буффало Гроу, родители остались пока жить с ним, а нам он снял квартиру в самом Чикаго. Здесь, наконец, я узнал какой у Наума бизнес. Он, подмигнув мне, сказал:

— Экскорт-сервис мистера НИКа! Ник — это я и Костя!

— Что это такое? — поинтересовалась теща.

— Русские красавицы для американских джентльменов, как говорит Большой Человек, — хмыкнул Наум.

— И здесь он Большой Человек? — удивился Любин папа.

— Кто умел делать там деньги, тот и здесь не ходит в дураках, — сказал Наум и добавил. — Кстати, папа, Костя уже получил здесь грин-карту и купил недалеко от меня трехэтажку. Но пока здесь не приземлился и мотается по делам нашей фирмы между Питером и Чикаго. Где-то месяца через два должен прибыть с товаром.

Я посмотрел на Любу и теща, перехватив мой взгляд, мгновенно остановила Наума:

— А что ты подыскал для детей?

— Все о'кей, — сказал Наум и, хитро поглядев на меня, добавил, — для Гриши у меня большой сюрприз! Я купил ему катер: будет возить туристов по Мичигану.

Я вздрогнул. И неожиданно для самого себя спросил:

— А кто его прежний хозяин?

— А тебе не все равно, — сказала Люба.

— Ему не все равно, — сказал Наум. — Ты же знаешь, Любочка, у твоего мужа к любой проблеме свой подход! Хорошо, Гриша, я тебе отвечу: хозяином этой посудины был старый индеец, который на старости лет решил переехать во Флориду! Ты доволен моим ответам?

— Да, — сказал я.

— Скажи спасибо, — толкнула меня под бок Люба.

— Спасибо, Наум, — сказал я.

— Кстати, этот катер я приобрел для моего бизнеса, — сказал Наум и добавил, — мои клиенты, твой сервис! Ты не против?

— Что ты говоришь?! — опередила меня Люба, — как это он м о ж е т быть против!

— Твой Гриша все может, — сказал Наум.

Он ошибался, я ничего не мог ни в той жизни, ни в этой… Когда я дома объяснил Любе что экскорт-сервис обыкновенный бардак, она сказала, что это ни мое дело, и чтобы я не думал здесь устраивать концерты, как в Могилеве:

— Тебе нашли работу, и ещё какую, — сказала она, — так что работай и молчи! — и добавила, — и собаку, пожалуйста, возьми с собой на катер: у меня от неё аллергия! Пусть она там живет!

И мы с Питом перебрались на катер: Пит на постоянно, а я почти на двенадцать часов в сутки. Днем я возил экскурсии, а вечером Наум привозил своих клиентов и устраивал им, как он говорил, белые русские ночи…

Зарабатывал я неплохо, и Люба тоже приносила в дом хорошие деньги: Наум с Костей приобрели маленький ресторанчик, и Люба стала в нем менеджером, и через год мы стали подыскивать кондоминиум. Тесть с тещей взяли под свою опеку раздевалку и купили кооператив раньше нас.

На маму документы мы оформили сразу после приезда, но ей в посольстве не дали беженца, и она наотрез отказалась ехать по паролю:

— Я не хочу садиться на вашу шею, — сказала она, и все мои телефонные убеждения на неё не действовали.

И тогда я решил за ней поехать. И опоздал всего на два дня: она умерла от третьего инфаркта, про два первых она нам не говорила… Я похоронил её в Краснополье рядом с папой, поставил памятник и уехал …

А потом была светлая лунная ночь над Мичиганом. Я стоял как всегда на капитанском мостике, у штурвала, а старый Пит лежал у моих ног и смотрел на луну. И в это время раздался крик с верхней палубы. Во время ночных поездок с Наумом, я никогда не покидал капитанскую рубку. Но крик был о помощи и первым на него откликнулся Пит. Сначала вздыбилась его шерсть, потом он тихо зарычал, потом посмотрел на меня, ожидая приказа, и не получив его, метнулся к бортику, отделявшему мою рубку от палубы, перескочил через него и начал карабкаться на смотровую площадку. Здесь он поводком запутался в перилах, и я его догнал. Как только я распутал поводок, он потащил меня дальше наверх, туда, откуда раздавался крик. Мы выскочили на смотровую палубу и… увидели Катю! Она лежала, свернувшись клубком у ног Наума и он, с перекошенным от ненависти лицом, с размаха бил её ногами… Пит зарычал, он обернулся и, увидев меня, процедил сквозь зубы:

— Отказала клиенту! Недотрогу решила сыграть! Как будто в Америку мы её привезли за красивые глазки!

Пит рванулся, и я отпустил ремешок… И в ту же секунду, когда Пит, вцепился в ногу Наума, Катя вскочила, метнулась к борту и бросилась в воду впереди катера. Я в доли секунды представил себе этот прыжок, представил, как движущийся катер тянет её под себя и бросает на работающий винт. И я прыгнул вслед… Я настиг её почти у винта, оттолкнул её от себя и не в силах сопротивляться тяге, пошел на винт сам, закрывая её собой…

Очнулся я в госпитале на четвертые сутки, меня собрали почти, что из ничего. Но, как видите, мистер Баскин, я живой и даже вожу опять катер. Катю не нашли, и Пита тоже. Он, оказывается, бросился вслед за мной… или за Катей.

Вчера из Флориды приезжал бывший хозяин катера старый индеец Айра. Он попросил меня прокатить его по Мичигану и по дороге мы остановились, как я и думал, у обители его предков. Я все время пытался сам вспомнить это место, но не мог. И вот сейчас опять судьба предложила мне начать новую жизнь. Теперь я помню это место, но я не знаю, что мне делать? Неужели всегда мне суждено находить и терять Катю? И я никогда не смогу с ней остаться навсегда? Неужели в своей жизни мы не авторы, а только актеры.

3

Учора — не маё: яно у чужых руках,
І сёння-не маё: мільгне і стане учора,
А заутра, што здалёк крыляе, нібы птах, —
Маё. Мне з ім дзяліць і радасці і гора.
Янка Сипаков

— Эй, — маленькая босоногая голубоглазая девочка со щенком на руках стояла возле Гриши и не отводила взгляда от бутерброда, который исчезал в Гришином рту.

— Что тебе надо? — спросил Гриша.

— Я кушать хочу, — сказала девочка.

— На, — сказал Гриша и протянул девочке остаток бутерброда.

Она разломила его на два маленьких кусочка, один дала щенку, а второй мгновенно проглотила сама и, поглядев с надеждой на Гришу, сказала:

— Я ещё кушать хочу!

— Попроси у своей мамы, — сказал Гриша.

— У меня нет мамы, — сказала девочка. — Я детдомовская.

— Тогда попроси у детдома, — сказал Гриша.

— А я убежала из детдома, — сказала девочка и неожиданно спросила: — А ты жид?

Гриша в свои десять лет знал это слово. Он насупился и сказал:

— Я не жид, я — советский!

— А мама твоя жидовка? — спросила девочка.

— Она тоже советская, — сказал Гриша.

— А я жидовка, — сказала девочка. — Это мне Валька сказала, мы с ней вместе из детдома убежали. Она на товарный поезд села и в Москву поехала, там у неё тетя. А мне она сказала, что её тете жидовка не надо. Я подумала, может, я нужна жидам. Ты спроси у мамы?

— А как тебя звать? — спросил Гриша.

— Катя, — сказала девочка и, показав на щенка, добавила. — А его звать Пит! Он волк. Я его в лесу нашла. Он тоже кушать хочет. Ты спроси у мамы и про Пита. Хорошо?

— Хорошо, — сказал Гриша.

А в это время далеко от Краснополья, на другой стороне Земли, над озером Мичиган кружили три диких гуся. Они вынырнули из воды почти одновременно. Взметнувшись вверх, сначала не видя друг друга, они, хлопая громко крыльями и что-то крича, фейерверком разошлись в стороны. Потом, оглянувшись, и заметив друг друга, резко раз-

вернулись и понеслись навстречу, как влюблённые после долгой разлуки на перроне вокзала. И вместе закружились над озером, почти касаясь крыльями друг друга. Потом, будто большая гусиная стая, вытянулись клином и полетели в сторону океана…

МЕСТЕЧКОВЫЕ НОВЕЛЛЫ

Шептуха

Все в местечке знали, что у нашей соседки Баси плохой глаз, кого не похвалит, обязательно «сурочыць», как говорили по-белорусски, или по-русски — сглазит. И это несмотря на то, что в душе Бася была добрым человеком и хвалить любого готова была всегда, только то, что эта хвала выскакивала болячкой, уверены были все. И моя бабушка тоже. Когда она видела в окошко, что Бася идет к нам, она посылала меня в зал, за ширму, и сама оставалась на кухне с Басей, принимая ее сглаз на себя!

— Их а алтэ идэнэ, их вэйс вос тун, их а файг мах ин кэшэнэ! (Я старая еврейка, я знаю, что делать, я фигу в кармане делаю! — идиш) — объясняла она свою смелость.

— И я сделаю фигу, — говорил я.

— Дайн файг а клэйнэ, а май а грэйсэ! (Моя фига большая, а твоя маленькая! — идиш) — останавливала она мою храбрость.

И я сидел за занавеской в зале.

Но однажды я нарушил бабушкино предупреждение. В тот день я научился читать и был горд этим до невозможности. Мне всем хотелось об этом говорить. И, когда Бася зашла к нам одолжить соль, я, взяв громадный том Пушкина, вышел из зала и гордо стал читать:

— У самого синего моря жили старик со своею старухой…

— А клэйнэр кинд ун лэйнт! (Маленький ребенок и читает! *Идиш.*) — удивилась Бася.

Бабушка испугано посмотрела на меня и стала показывать мне глазами, чтобы я испарился, исчез, растворился. Но остановить меня было невозможно: я прочитал всю сказку, под восхищенное оханье Баси и кручение бабушкой сразу двух фиг в кармашках передника.

Но как только Бася ушла, у меня заболела голова, а через час все тело покрылось волдырями, как будто меня покусали комары.

Бабушка очень испугалась, увидев это, и побежала к маме на работу. Мама с работы позвонила в поликлинику. И, где-то под вечер, к нам пришел наш участковый врач.

Он меня прослушал, посмотрел мои болячки и неожиданно для всех сказал:

— Я, конечно, могу выписать мазь, но это долгое лечение, тут нужен другой специалист.

— Кто? — дрожащим голосом спросила бабушка.

— Может, это и неприлично доктору говорить, но здесь нужна шептуха. Это сглаз, — сказал доктор, и добавил: — Только я вам это говорю не как доктор, а как знающий вас человек.

В местечке была одна шептуха, тетя Настя. Жила она далеко от нас, на другом конце местечка, в совхозе. Бабушка хотя и не знала точно, где живет шептуха, хотела бежать к ней сразу, но мама остановила ее, сказав, что подождем папу с работы, он знает тетю Настю, и она ему не откажет. Пришел папа с вечерней школы очень поздно, затемно, но, сразу не раздеваясь, сел на велосипед и поехал за шептухой.

— Уговори ее, чтобы сразу пришла, — шептала бабушка, глядя на мои мучения: волдыри вздулись, я весь горел, и стрептоцид, главное в то время лекарство, температуру не сбивал.

Вернулся папа с тетей Настей где-то уже за полночь. Она посмотрела меня, а потом всех выгнала из зала и осталась со мной один на один.

— Не палохайся анічога, усе адвяду ад твайго парога. Заплюшчы вочкі, каб у іх не патрапілі мае плявочкі. (Не бойся ничего, все отведу от твоего порога. Закрой глазки, чтобы в них не попали мои плевки. — *белар*.)

Я зажмурил глаза, и тетя Настя начала шептать. Я запомнил ее слова, потому что повторяла она их много раз. Сначала я их считал, а потом сбился со счета.

— Пайшла направа, пайшла налева, згінь з вачэй, халера! Цераз плот ды у агарод, праз паперу на сякеру! Паклічу Крух-

таля, дасць табе кухталя! Бяжы шпарчэй, з маіх вачэй! — шептала она и после шептания плевала на меня и растирала свои плевки руками.

Закончив свое дело, наклонилась надо мной и тихонько сказала:

— Ніколі у жыцці не хваліся і не ганарыся! Бо пасля аплююць цябе з галавы да ног! (Никогда в жизни не хвались и не гордись, ибо после оплюют тебя с головы до ног! — *белар.*)

Папа хотел ей дать деньги, но она не взяла:

— Маркавіч, вы ж майго Жорыка вывучылі, цяпер ен у Мінску на прафесара вучыцца! Вас заужды успамінае. А у хлопчыка к раніцы усе пройдзе! (Маркович, вы же моего Жорика выучили, теперь он в Минске на профессора учится! А у мальчика все к утру пройдет! — *белар.*)

И слова тети Насти оказались правдой. К утру у меня исчезли все болячки, как будто их и не было никогда, и я даже на радость бабушке попросил ее сделать мне драники.

Много лет прошло с того времени, но всегда, когда вдруг возникает желание похвалится или загордиться, я вспоминаю слова тети Насти.

И желание пропадает.

Телефонистка

Люся работала на почте телефонисткой. В те времена домашние телефоны в Краснополье имели только первый и второй секретари райкома, начальник милиции, уполномоченный НКВД и военком. Все остальные для междугородных разговоров ходили на почту. Маленький телефонный закуток, как его звала Люся, находился на втором этаже почты. Был он метра полтора в ширину и столько же в длину. При этом в него вмещалась телефонная будка со скрипящей дверью и единственная табуретка для ожидания соединения. Если на одно и то же время приходилось несколько человек, то все ждали на лестнице, держа дверь в закуток открытой. Кроме телефонов, Люся ведала и телеграммами. На голове у нее всегда были наушники, и она их не снимала ни на минуту. Все разговоры она внимательно слушала и даже иногда могла вмешаться в беседу,

и все считали это нормальным явлением. Ибо вступала она в разговор всегда по делу, чтобы ускорить время, и платить надо было меньше.

Наша соседка Хая раз в две недели приходила на почту, чтобы поговорить со своим сыном Роликом. Ролик служил на Сахалине и после армии остался там работать. О его работе Хая говорила всего два слова:

— Эр харнт ди фиш! (Он ловит рыбу! — *идиш*.)

Придя на почту, она сразу предупреждала Люсю:

— Ду вэйст вос зогун. Зог! Эр зогт, нор вос эр зогт, их горныш гэрнт! (Ты знаешь, что надо говорить. Говори! Он говорит, но я ничего не слышу! — *идиш.*)

Во время разговора тетя Хая говорила только Зуналэ и Зай гезунд (Сынок и Будь здоров — *идиш*), и напоминала телефонистке, что у нее для разговора есть только три рубля, а все остальное говорила Люся.

Когда Ролик приехал в Краснополье в гости к маме, единственным знакомым человеком в поселке, кроме мамы, была Люся. Он в первый же день зашел на почту, чтобы поблагодарить ее за мамины разговоры, просидел там до вечера и проводил ее до дома после работы. А через неделю их расписали в местном ЗАГСе, где на вопрос регистраторши Клавдии Петровны, долго ли они знакомы друг с другом, в один голос сказали:

— Пять лет по три минуты каждые две недели!

Прадедушка Шеел

Жизнь моего прадедушки Шеела Бруна полна была загадок, необъяснимых и по сей день. Я часто ее рассказываю, надеясь, что вдруг из глубины времени придет разгадка, такая же невероятная, как и жизнь реб Шеела. В Краснополье он появился, как в стариной майсе (истории — *идиш*), неизвестно откуда и неизвестно почему. Хотя почему, можно догадываться. Неожиданно в местечко приехал сват из самого Могилева, что удивило все Краснополье, ибо таких именитых сватов местечко не видело. Даже богач Зевин обошелся для своих сыновей услугами шадхэна из ближайшего к

Краснополью Кричева. А здесь сам сват приехал из самого Могилева. И направился к местному ребе. И завел разговор не о местных красавицах, а о дочке самого ребе, шестнадцатилетней Цырул. Надо сказать, что красивей Цырул в Краснополье никого не было, и в выборе невесты шадхэн (сват — идиш) не ошибся. Приехал он с двумя красивыми парнями, как он сказал, друзьями жениха. О женихе он говорил много, но ничего конкретного. Говорил, что он из большого ихеса, и из очень богатой семьи. Сыпал знаменитыми именами, включая Воложинского ребе и ребе из самого Петербурга. Все они, по словам шадхэна, в мишпохе (фамилии — идиш) реб Шеела. И вся его родня живет в Петербурге и Москве. Парни, что приехали со сватом, кивали головами и вставляли в разговор мудрые слова из Талмуда. У простого местечкового ребе от всех этих разговоров кружилась голова, и он на все вопросы кивал головой в знак согласия: ну, кто из праведных евреев откажется от такого жениха! А невеста, подглядывая из-за занавески на дружков жениха, представляла его таким же красавцем, как и они: с английскими бородками, с длинными пейсами, в больших каракулевых штромлах (меховая шапка — идиш), и костюмах, как у самого Зевина, а может, и лучше. И счастью ее не было предела. И даже то, что после согласия ребе гости сказали, что жених сам на свадьбу приехать не сможет, и под хупу, как разрешено по еврейскому закону, пойдет его дружок, не смутило отца Цырул. Не может, так не может! Зато хупу проведет сам Могилевский ребе, который по этому случаю приедет в местечко. А был он в Краснополье до этого только один раз на свадьбе у старшего сына Зевина! Такой почет, такое уважение!

Через месяц из Петербурга пришла огромная посылка с платьем для невесты и подарками для ее родни. Все охали и ахали, глядя на присланные подарки! И еще через месяц, как и обещал шадхэн, в местечко приехал Могилевский ребе. Приехали и друзья жениха, человек десять, все один в один красавцы и великие талмудисты. И самый красивый из них взошел под хупу! О свадьбе Цырул говорило все Краснополье долго, пока в местечке не появился наконец жених.

Был он, как и говорил сват, большим талмудистом, но внешне совершенно не похожим на своих дружков — был он на сорок лет старше невесты! Даже старше ее отца! Но изменить уже ничего нельзя было.

— Май мэйдалэ (Моя девочка — *идиш*), — успокаивая Цырул, сказал ребе, — так, наверно, положено! Так на небесах записано!

Никогда Цырул не видела родню Шеела. И даже ничего о ней не знала. Шеел никогда ничего о ней не говорил. И вообще, он был очень молчаливым человеком, хотя, когда говорил, то сразу становилось понятно, что он не простой человек. Знал он буквально все и в талмуде, и в светских делах. Родня никогда не писала ему писем. Только каждый месяц приходили большие посылки то из Петербурга, то из Москвы, полные разных вещей, и обязательно книжек, и Шеел торговал ими в лавочке, которую неизвестно кто снял ему в местечке. Ее бывший хозяин сказал, что привезли деньги из Могилева, а может, из Петербурга. И все в золотых рублях. Перед самой революцией моего дедушку, старшего сына Шеела, которому исполнилось семнадцать лет, вдруг неожиданно пригласили письмом в Петербург. В письме лежал и билет на поезд из Кричева до Петрограда. Все в доме перепугались этому письму, а Шеел сказал, что это письмо от его мишпохи, и пусть Анзельм едет. Как всегда, ничего не добавив о своей мишпохе к этим словам. Дедушку в Петрограде встретил незнакомый человек и сразу отвез на какую-то квартиру, сказав, что здесь он будет жить, а завтра должен прийти на Путиловский завод, где будет учиться бухгалтерскому делу в тамошней бухгалтерии. И оставил ему деньги. На все дедушкины вопросы о родне он отвечал, что ничего не знает. Ему велели встретить — встретил. Велели отвезти на квартиру — отвез. Велели дать деньги — дал. И в бухгалтерии никто ничего не знал. Отвечали одним словом — хозяин велел. Отучился он полгода, так и не увидев родню. Правда, однажды ночью в квартиру пришла старая женщина. Пришла она с каким-то молодым человеком. Дедушка уже спал. Они как-то сами открыли дверь. Молодой человек остался в передней, а женщина вошла в спальню и подошла к дедушке. Она несколько минут молча смотрела на него, потом погладила по голове, благословила и ушла. Как дедушка говорил, он

почувствовал в ней что-то родное. А потом в Петрограде начались беспорядки. Начиналась революция. И дедушке сказали возвращаться домой, в Краснополье.

После революции в Краснополье перестали приходить посылки. Дедушка мой устроился бухгалтером, а его брат Наум — землемером. Пошла иная жизнь. Шеел после революции изменился: помрачнел, стал заговариваться, называя какие-то незнакомые имена, и плакать во сне. Дальше двора он не ходил. И даже за калитку не выглядывал. И единственной работой его стало подметать двор. И так весь день он или читал книгу, или подметал двор. Цырул, хотя и была его моложе, умерла раньше него, неожиданно для всех, во сне. Он очень переживал ее уход. И говорил, что она ушла к Богу, потому что ей тяжело было жить с ним, стариком! И все просил Бога забрать и его! Когда началась война, он вместе с бабушкой и внучками ушел из Краснополья, но когда подводы беженцев разбомбили на дороге в Кричев и все разбежались по лесу, он потерялся. Его долго искала бабушка, но не нашла. И с детьми пошла дальше в Кричев, в который вот-вот могли войти немцы.

После войны рассказывали, что Шеел вернулся в Краснополье. Но не дожил до расстрела евреев, а умер раньше, от голода. Так как не было кошерной еды, а иную он отказался есть.

СОДЕРЖАНИЕ

Глиняный шар 5
Специалист по Пиросмани 27
Дом с крыльцом 48
Яблоки 66
Сверчок за печкой 71
Сувенир из Нью-Йорка 90
Соната для фортепьяно, скрипки и гобоя 104
Птица, спустившаяся на прогулку 129
Местечковые новеллы 168

Літературно-художнє видання

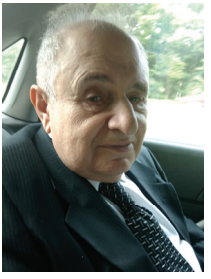
СЕРІЯ «Библиотека “Крещатика”»
Заснована в 2023 році

Марат Баскин
СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПИРОСМАНИ
(*російською мовою*)

Макет обкладинки і верстка
Друкарський двір Олега Федорова
Формат 60х84 1/16. Наклад 150 прим. Зам. № 2854
Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 11
Гарнітура «Cambria».
Підписано до друку 12.01.2024 р.

Видавець Федоров О. М.,
«Друкарський двір Олега Федорова»
Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,
e-mail: relaks-oleg@ukr.net
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»
Адреса: 07400, Київська обл.,
м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.



МАРАТ БАСКИН родился в посёлке Краснополье на Могилевщине. Окончил Машиностроительный институт, работал инженером. Вместе с семьёй переехал жить в США в 1992, где жил сначала в Нью-Йорке, а затем в Филадельфии. Именно в Америке главными героями рассказов и повестей Марата Баскина стали краснопольцы, и Краснополье стало истоком его историй, как знаменитая Касриловка Шолом-Алейхема.

ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ФЕДОРОВА

9 786178 252854